

ИГОРЬ ГУРЕВИЧ  
МОИ СЕЗОНЫ



Стихотворения и поэмы

# Оглавление

Об авторе . . . . .	7	Всё так же на земле, как было встарь . . . . .	39
Елена Скоробогатова. Сезоны		Нынче осень затяжная . . . . .	40
Игоря Гуревича . . . . .	8	Осенние снегири . . . . .	40
<b>Лето, где тебя любят</b>		Вдвоём . . . . .	40
Девочка и сказочник . . . . .	20	Закрытие сезона. . . . .	41
В лето, где тебя любят... . . . . .	20	О главном . . . . .	41
Летнее утро. Девочка и звери . . . . .	20	Час предутрия. Ранняя осень . . . . .	42
Радость моя . . . . .	21	В общем круге.	
Псков, 3-е июня . . . . .	22	Поэтическая повесть . . . . .	42
Кузнец Моисей. . . . .	22	<b>Русская зима</b>	
Утренняя рыбалка. . . . .	23	Оставляю прожитое лето . . . . .	49
Облака . . . . .	23	Зима. Начало. . . . .	50
После дождя . . . . .	23	Оборваны листы календаря . . . . .	51
Неоткрытый берег . . . . .	24	Русская зима . . . . .	52
Черновики . . . . .	24	И только снег. . . . .	53
Отпускники . . . . .	26	Мальчик и Дед Мороз. . . . .	54
Полустанок. . . . .	26	Проводы . . . . .	55
Заречье . . . . .	27	Женщина просыпается. . . . .	55
Мужик в доме . . . . .	28	На задворках памяти . . . . .	56
...и дым отечества. . . . .	28	И снова снег . . . . .	56
Попутчик . . . . .	29	Мгновение . . . . .	56
Не ищи себе оправданий. . . . .	30	Два ангела . . . . .	57
Деревня. Существительных пределы. . . . .	31	Декабрь опасен . . . . .	57
Ты . . . . .	31	Замёрзший путник. Невыдуманная история. Поэма . . . . .	57
В пути . . . . .	32	<b>Мы доживём и до этой весны</b>	
Мой список. . . . .	32	Весенняя надежда. . . . .	60
Детство в ракетном дивизионе.		Мы доживём . . . . .	61
Поэма . . . . .	33	Мы не ищем лёгких путей . . . . .	62
<b>Минута осени</b>		Рай земной. . . . .	63
Впадаю в детство . . . . .	36	Как искали Ивана-Дурака . . . . .	63
Минута осени . . . . .	38	Семнадцать мгновений весны для бабушки. . . . .	65
Дождь идёт . . . . .	38	Степь. Поэма . . . . .	66
Под Царскосельским небом . . . . .	38		
Листва, желтея, просится в ладони . . . . .	39		

Фотопортрет на с. 5 — работа **Ирины Дейнеко**,  
автор остальных фото в книге — **Игорь Гуревич**.

## ОБ АВТОРЕ

**Игорь Давидович Гуревич** — поэт, прозаик, член Союза писателей России (с 2016 года). Родился 30 июля 1960 года в Архангельске, в семье военного. Школу закончил на Украине, в Киеве. Высшее образование получал в Саратовском университете и Архангельском педагогическом институте. Учитель русского языка и литературы. Работал директором школы, заведующим кафедрой в Институте повышения квалификации работников образования. Общий педагогический стаж — 20 лет. Отличник народного образования. С 2000 года — в информационном бизнесе, занимался журналистикой, PR и маркетингом. Был директором, главным редактором первого информационного агентства на Русском Севере — «Двина-Информ». С 2006 по 2014 год работал на различных должностях в авиакомпании «Нордавиа» (АВЛ, «Аэрофлот-Норд»). Закончил «авиационную» карьеру в качестве директора по связям с общественностью и социальным программам. С 2014 года — «свободный художник», предприниматель — консультации и бизнес-проекты в области PR, маркетинга, рекламы и управления персоналом. Пенсионер по северному стажу. Вырастил и воспитал 4-х детей. Стихи и проза публиковались в журналах «Родная Ладога» (СПб), «Русский писатель», «Литературные знакомства» (Москва), «Чаша круговая» (Екатеринбург). Лауреат литературной премии «Наследие-2016» (Российский союз писателей совместно с Российским Императорским Домом) в номинации «Поэзия»; дипломант конкурса им. Н. С. Лескова (2018 год); обладатель гран-при международного литературного фестиваля «Интеллектуальный сезон» (Алушта, 2020), лауреат конкурса им. И. Г. Григорьева (2020 год), награждён медалями: к 400-летию восстановления Российской государственности (Российский императорский Дом) и имени Евгения Замятина (Липецкая областная организация СП России); почётной грамотой Правления СП России (2019). Автор книг: «Любовь к родине» (сборник рассказов, 2009, Архангельск), «Любовь к ближнему» (роман в рассказах и стихах, 2010, Архангельск), «Земля обетования» (сборник стихов, 2013, Архангельск), «Лето, в котором тебя любят», (сборник рассказов, М., 2014), «Доброе небо» (сборник стихов, 2015, Архангельск-Псков), «Троянский конь ещё не сочинён» (стихи на каждый день, 2015, Архангельск-М.), «Осенние снегири» (Стихотворения и поэмы разных лет, М.: «Российский союз писателей», 2017), «Гражданская авиация на Русском Севере. Летопись» (Архангельск, 2018), «Зона отчуждения» (повести, рассказы, М.: «Сказочная дорога», 2020), «Гражданская авиация на Русском севере. История инженерно-авиационной службы» (Архангельск,

2020). Выступил редактором-составителем коллективных сборников: «Доброе небо» — антология современной русской провинциальной литературы: сборник стихов и прозы финалистов литературной премии «Доброе небо» (Архангельск, 2017); «Остров надежды — 2019»: альманах поэзии и прозы финалистов фестиваля-конкурса им. А. С. Грина (Архангельск, 2019); «Остров надежды — 2020»: альманах поэзии, прозы, эссе, авторской песни финалистов литературно-музыкального конкурса им. А. С. Грина (Архангельск, 2020). Ведущий авторских программ: радиопередачи «Книжная лавка» на радио «Поморье» (Архангельск, с 2018 г.) и видеопередачи «Литературный Архангельск» (ООО «Поморфильм», интернет-канал «Поморская альтернатива», с 2020 года). Организатор литературных премий «Доброе небо» (Псков, 2016 год), литературно-музыкальный фестиваль-конкурс им. А. С. Грина (Гринфест), «Остров надежды» (Архангельск, ежегодно с 2019 года).

## СЕЗОНЫ ИГОРЯ ГУРЕВИЧА

Перед вами книга архангельского поэта Игоря ГУРЕВИЧА. Это именно Книга, а не поэтическая подборка. И, как любая книга, она «сделана», выстроена как дом. И это большая ответственность.

Подобное возможно, когда за плечами богатый жизненный и творческий опыт. Но и читательские ожидания в отношении книги всегда более высоки, чем когда мы сталкиваемся с обычной, во многом случайной стихотворной подборкой.

Сразу отметим главное: Игорю Гуревичу, на наш взгляд, удалось не обмануть читательские ожидания: предложенная им поэтическая книга читается на одном дыхании, как одно целое. В ней есть всё, что для этого необходимо: структура, интрига и — конечно же! — увлекательное путешествие в разнообразный, полнокровный мир Поэзии.

Книга Игоря Гуревича названа смело и претенциозно: «Мои сезоны».

Поэт однозначно отправляет читателя к сезонам года: структура книги повторяет этот, знакомый каждому с рождения, ритм бытия. Характерно, что поэт не просто перечисляет названия времён года: «Лето», «Осень», «Зима», «Весна», а даёт каждому сезону индивидуальную, трансформированную через его творческое восприятие, характеристику. «Лето, в котором тебя любят», «Минута осени», «Русская зима», «Мы доживём и до этой весны» — это на-

звания главок (разделов) книги, повторяющие названия вошедших в неё стихотворений. И мы можем предположить, что именно в них заключены главные смыслы каждого из заявленных поэтом «личных» сезонов.

В лете, где тебя любят,  
радуги яркий мост.  
В лете, где тебя любят,  
Небо полное звёзд.

За руку идёшь с дедом,  
бабушка зовёт вас —  
пахнет от неё хлебом,  
солнце из её глаз...

Что это с тобой было,  
если сквозь туман лет  
видишь стариков милых,  
позабыв, что их нет...

Именно так! Главка о лете — летнем сезоне жизни поэта — наполнена воспоминаниями о детстве. Поэт не просто с умилением предаётся воспоминаниям о «безгрешной поре», он переосмысливает детские годы с высоты личного опыта и исторического опыта страны. Такой личностно-исторический взгляд на свою жизнь красной нитью проходит через всю книгу. Вот, например, история взросления мальчишки по имени Женька Онегин (поэма «Детство в ракетном дивизионе»). Эта история могла бы выглядеть обыденной: все мы родом из детства: и шалили, и играли в прятки, переворачивая вверх дном дома друзей, и убегали на ночную рыбалку. Но Игорь Гуревич говорит о «своих сезонах» в истории страны:

Страна Украина ещё не страна.  
Служенье Отчизне ещё не вина.  
А эта Отчизна — Советский союз  
из дружных республик — пятнадцати муз.

И нам всё равно, из какой ты из них.  
Важнее, насколько ты свой среди воли...  
Мы с Колькой гранату нашли на двоих  
с длиннющей ручкой. «Немецкая, что ли?»

В этом, казалось бы, мимоходом, отпущенном замечании «служенье Отчизне ещё не вина» сказано так много, что начинается щемить сердце у каждого,

чьё детство прошло в советские годы. А рядом — следы той войны, которая нас ... объединяла: отцы служили Отчизне, выполняя офицерский долг, а сыновья:

Костёр разожгли — ни мозгов, ни ума!..  
Такого добра повсеместно здесь тьма.  
Вон рядышком — Днепр...  
Переправа... Война...  
Служенье Отчизне ещё не вина.

В этих строках слышен призыв: не забыть! И в то же время поэма воспринимается как покаяние перед памятью отцов за то, что их выросшие сыновья не смогли сберечь:

А мы подрастаем на этих следах,  
пока на дежурстве военном отцы,  
за совесть Отчизне служа, не за страх,  
надеются: вырастут в мире юнцы  
и станут жить лучше, сытней-веселей,  
чем жили они среди этих полей,  
которые выжгла когда-то война...  
Служенье Отчизне ещё не вина.

Поэзия Гуревича повествовательна. Поэт предпочитает рассказывать истории, вовлекая читателей, делая их соучастниками предлагаемых обстоятельств. При этом сам автор то становится героем происходящего, то предлагает нам взглянуть на жизнь со стороны — как некий мудрый, уставший старец. И тогда перед нами открывается чужой незнакомый мир, и потому, что мы смотрим на этот мир глазами поэта, он предстаёт перед нами светлым, тёплым, трепетным. Поэт Гуревич любит и умеет, как добрый сказочник, приоткрывать дверцы в чужую радость, заставляя сердце откликаться. Так происходит, например, в стихотворении «Летнее утро. Девочка и звери», где

...скачет необычное зверьё  
осколками то зелени, то сини.  
А девочка — храни, Господь, её! —  
для каждого придумывает имя.

Сказочник-наблюдатель Гуревич даёт волю своей фантазии, вовлекая нас в эту игру, превращая в первооткрывателей, как в далёком детстве:

Туманом окутался берег,  
притих, как нашкодивший кот,  
в надежде, что старенький Беринг  
его, бедолагу, найдёт.

Но в детском, забытом лете остались не только радость открытий, там осталась и пора взросления. Поэт Гуревич (видимо, сказывается педагогический опыт работы учителем, директором школы) умеет говорить о таких непростых вещах как «приобретение жизненного опыта», подростковая «ломка». Он рассказывает об этом не просто «со знанием дела», а с точностью деталей в сочетании с поэтической метафоричностью, заставляя читателя сопереживать, «пробивая» сердце до слёз. И это по-настоящему высокая поэзия, рождающая катарсис. К таким знаковым стихотворениям Гуревича можно отнести «Полустанок», «Мужик в доме».

Уже в первой, «летней» главе Игорь Гуревич заявляет все основные темы и сюжетные линии книги. Это, прежде всего, детство — дети, детские воспоминания — в неразрывном единении с историей страны. Всякий раз это не просто забавная история, а запоминающееся обобщение и вычленение одновременно чего-то очень важного, значительного, без чего невозможно состояться личности. При этом поэзию Гуревича никак нельзя назвать нравоучительной. Поэт умеет заставить зазвучать самые высокие струны, внести, то, что называется пафосом, но при этом сохранить некую бытовую приземлённость, делающую его стихи узнаваемыми, близкими и... простыми, иногда доходящими до наивности. Но это кажущаяся простота — нарочитое «приземление» поэзии можно признать за индивидуальную черту творчества Гуревича. Во всяком случае, в книге «Мои сезоны» поэт умышленно не представляет ту сторону своего творчества, где он экспериментирует со словом, ритмом, мелодией стиха. Поэтический мир Гуревича представляется очевидным, но при этом заставляющим читателя задуматься, откликнуться душой. Стихи, условно названные нами «детскими», в полной мере соответствуют сказанному.

Именно так рассказана история мальчика, спрятавшегося под стол от соседки, переодетой в Деда Мороза. За вызывающей умиление детской трусостью неожиданно открывается трагическая история этой самой соседки, потерявшей жениха на войне:

Глаза прикрыла, будто неживая,  
она затихла с поднятой рукой,  
потом, меня за плечи обнимая,  
шептала, плача: «Мой ты дорогой!»  
(«Мальчик и дед Мороз», глава «Русская зима»)

Или вот — ещё одна картинка из детства — игра в слова с родителями, когда таким убедительным аккордом звучат заключительные строки стихотворения:

Будь у меня сто тысяч разных детств,  
весёлых, разноцветных и прекрасных,  
я всё равно бы выбрал среди разных  
то самое, надёжное, как крест,

где папа называет слово «пар»,  
я отвечаю «Родина» и гордый,  
что знаю гимн с первого аккорда,  
за спутником свой отпускаю шар.

Младенческое воспоминание, которое больше похоже на прорвавшийся из подсознательного сон или даже просто выдумку, фантазию, заставляет заново переосмыслить прожитую жизнь. И хотя поэт говорит в первом лице, не скрываясь под личиной лирического героя, мы невольно примеряем сказанное к себе и повторяем как магическое заклинание, возвращающее нас в рай:

...Я поплыву в моём возвратном сне  
в тепле ладоней матери родимой,

в её любви, родившейся со мной,  
в её заботе, мне принадлежащей...

«Семнадцать мгновений весны для бабушки» вообще похоже на отдельный рассказ, как, впрочем, и большинство других стихотворений, вошедших в книгу. С той только разницей, что здесь поэт «опускается» до самых мелких бытовых деталей. Но они здесь уместны, потому что главное для поэта в этом стихотворении — создать образ бабушки. Она даже говорит на идише — простая, местечковая, не «слишком грамотная» женщина, дающая наивные характеристики телевизионным героям, женщина, за плечами которой тяжёлая жизнь, война, погибший на войне муж, расстрелянная в Бабьем Яру мать... Но бабушка смотрит любимый сериал и умиляется Шелленбергом («А шейне пунем!»<sup>1</sup>) и Борманом, потому что:

Утро застоя. К закату готовы.  
Смотрим «Семнадцать мгновений весны».  
Как хороши Броневой с Табаковым,  
как они бабушке нынче нужны!

---

<sup>1</sup> А шейне пунем — (идиш) красивое лицо, красавец.



«И не враги они вовсе, а люди» —  
так, со словами мешая слова,  
бабушка всех одинаково любит  
и потому, безусловно, права...

И если у вас нет сердца, нет памяти — вы не откликнитесь на эти стихи...

Ещё одна важная для поэта тема, которую он счёл необходимым вложить в книгу, подкрепляя тем самым сакральный смысл её названия, это тема войны — той самой, Великой Отечественной войны. Её образ — как трагическое воспоминание, как напоминание — проходит через всю книгу, находя отражение и в стихах о детстве. Но есть и отдельные, особые стихотворения, посвящённые войне. Это не бравурные, не покаянные и не трагические строки. В них нет пересказа ужасов войны. Это стихи непростые, жёсткие, потому что наполнены пацифистским накалом. Поэт словно хочет обратить наше внимание на то, как много вокруг «бряцания оружием», разговоров о противостоянии, когда даже падающий с неба белый снег навевает образы военного парада («Проводы»):

Тишина как на параде,  
что пред маршалом застыл...

Поэт «цепляется» за эту тишину, вовлекая нас в игру воображения. И вот — мы уже на перроне, среди солдат, ожидающих отправки на фронт.

В тишине приказ читают  
офицерские чины.  
И скорбит она, и тает  
у подножия зимы...

И поэт призывает продлить эту тишину, эти часы-минуты мира, сохранить, сбереечь это тонкое состояние, когда

Никого из смерть поправших,  
в грудь приявших горний свет,  
нет ни раненных, ни павших,  
лишь любимые и нет.

Последнее четверостишие звучит как горькая просьба и как... призыв к нам, сегодняшним: берегите любовь, берегите мир! Во многом это идёт в разрез с «официальной позицией». Но поэт — как тонкая струна: чувствует состояние сегодняшнего мира, напоминающее временное затишье перед страшной битвой:

Пусть нам маршал не пеняет,  
даст дослушать тишину.

Проводи меня, родная,  
на последнюю войну!

А в стихотворении «Мы доживём и до этой весны» — само название уже звучит как надежда — поэт прямо заявляет:

Я не хочу, чтобы внуки мои  
стали войны этой самой детьми...

Поэт ничуть не стесняется патетики в стихах о войне, потому что по-другому об этом он говорить не хочет:

А что потом — не ведаю, не знаю...  
Без вести, но не значит — вести нет:  
Кузнец Моисей всё слышит — и кивает  
с войны не возвратившийся мой дед.

Или:

Я спросил её: «Что ты, мать?» — было бабе уже за сорок.  
«Помолилась я. Спи, солдат». Помолчала, вздохнув едва.  
И промолвила сухо, как подождённый сгораёт порох:  
«Над тобою, сынок, Господь. За тобою, боец, Москва».

Встречаются в книге и стихи, похожие на реакцию обнажённого нерва. Поэт словно нарочито «выдаёт» живую, болезненную реакцию, вовлекая читателя в спор.

Если ты сын или дочь, или странник,  
и у тебя не закрыта душа,  
будешь осыпан серебряной данью,  
будешь любовью согрет не спеша.

Если ты что-то другое — прости уж! —  
выродок собственный, пришлый чужак:  
будешь ты чувствовать зимнюю стужу,  
будешь входить не в избу, а в барак.

Некоторые могут упрекнуть поэта в прямолинейности — такие стихи больше похожи на политический памфлет. Но включённые в книгу, они делают более полноценным представление о поэтическом мире Игоря Гуревича: этот мир многогранный, живой и... открытый. Именно такой должна быть настоящая Поэзия. Гуревич не боится говорить на разные темы, не боится выглядеть наивным, смешным. Прекрасно владея словом, он умело создаёт те образы, которые задумал. И читатель, вовлекается, увлекается и... верит.

Чего, например, стоит такая «экстравагантная штучка» — единственное напрямую ироническое стихотворение «Как искали Ивана-дурака», о кастинге актёров на эту роль!

Сегодня отбирали в дураки.  
Актёры собрались на кинопробы.  
Сюжет такой: две бабушки Яги  
Ивана делят для своей утробы.  
Иван же — хоть и связанный дурак —  
заигрывает с каждой из бабок.  
Одну зовёт за ближний буерак.  
Другую — на неближние ухабы.  
Короче, чушь полнейшая и вздор.  
Но дело в том, что классный режиссёр.  
Не просто классный — супер, высота,  
величина, божественное имя.

Ну, и так далее. Это надо читать, а не пересказывать, чтобы в конце рассмеяться в голос и... задуматься.

Вот это состояние послевкусия от стихов Игоря Гуревича — желание задуматься, перечитать — особая «фишка», индивидуальный стиль поэта, которым он мастерски владеет, удерживая наше внимание, сохраняя интерес к тому, о чём рассказывает. Гуревич именно «рассказывает» стихи. При знакомстве с его поэзией вспоминаются поэтические строки Давида Самойлова, Бориса Слуцкого.

Особенно этот талант поэтического рассказчика отразился в поэмах, помещённых в книгу.

Не так много современных поэтов, готовых и способных сегодня создавать именно поэмы как особые поэтические формы, где фабула играет первостепенную роль, как в прозе.

Игорь Гуревич относится к тем немногим, кому это, безусловно, удаётся.

Каждая из главок книги завершается поэмой. «Детство в ракетном дивизионе» мы уже упоминали. «Осенняя глава» завершается поэмой «В общем круге». На первый взгляд, это всего лишь милая зарисовка-история несостоявшейся любви аспиранта и аспирантки, изложенная в ироническом стиле в форме небольшой повести. Для пушшего «совпадения» с прозой автор предлагает читателю изложение поэмы в виде прозаического текста. Это похоже на игру. Но как же захватывает предложенная поэтом игра! Знатки современной поэзии смогут вспомнить «рифмованную прозу» Дмитрия Быкова, другие примеры. Но здесь перед вами Гуревич — и его ни с кем не перепутаешь:

«Итак... (Здесь не придумать краше того, как раньше Пушкин начинал. И это лучшее, что в детстве я узнал из лучшего романа. Дело ваше меня за перифразу упрекнуть, но надо ж как-то отправляться в путь!»)

Итак: она звалась Мария. Было в ней не то, что шармом на манер французский мы называем, обедняя русский и без того маневренный язык, в ней жил полёт над свечкой мотылька, хотя она и не была легка. Она казалась разной каждый миг, при том была безумно постоянна в тревожных монологах показанных. Сто раз в других знакомые черты в её лице казались чем-то новым, но всякий раз оправою очковой она вас низвергала с высоты».

Так и просматривается сквозь строчки авторский ироничный прищур. Чего стоит одно упоминание Пушкина и его знаменитого романа! Кстати, «зацепы» с «солнцем русской поэзии» у Гуревича разбросаны по всей книге. Он без тени смущения вовлекает Александра Сергеевича в свою поэтическую игру, возвращая его живой, человеческий облик, представляя поэта как своего доброго знакомого, а не как икону, на которую положено исключительно молиться.

Вот Александр Сергеевич в Пскове встречается с лирическим героем Гуревича... за кружкой пива:

И если вдруг мне в этот самый миг  
привидится, как с небольшой горушки  
спускается — о боги! — Саша Пушкин,  
поэзии пленительный родник,

сам русский весь, с негроидной губы  
роняющий божественное слово —  
я онемею высохшей полóвой,  
оглохну точкой собственной судьбы.

Он подойдёт. Со мной заговорит:  
«Как наше пиво вам? Вы не были в Тригорском?» —  
и город Псков, как шарик под напёртком,  
исчезнет в тёплых сумерках зари.

А вот разговор с самим Господом Богом по поводу значения черновиков в творчестве поэта:

И не было ни кружки, ни старушки,  
ни бури, завывающей во мгле.  
«Черновики пусть вам оставит Пушкин», —  
сказал Господь, шагая по земле.

И снова Пушкин — не «передающий лиру» непогрешимый мэтр, а живой и грешный Александр Сергеевич, радующийся с небес тому, что русская поэзия живёт и продолжается:

Под царскосельским небом осень  
читает чьи-то строки вслух.

И распознав свою пропажу,  
попавшую в чужие сны,  
без зависти к ним Пушкин скажет:  
«Ну, вот же сукины сыны!»

Все эти «замечания по ходу» возникают не случайно: мы читаем поэму Гуревича «В общем круге» — и обнаруживаем, насколько она вписана в книгу, связана с её образами, темами. Кроме «истории с Пушкиным» при желании отыщутся и другие пересечения, связки, ассоциации. Не так ли в нашей жизни: крупные, масштабные события (истории) — лишь продолжение или порождение более мелких, казалось, незначительных? Это и есть жизнь. А обнаружение таких связей, совпадений — счастье узнавания, осознание того, что мы есть, и для чего мы есть на этой земле.

Название третьей поэмы Игоря Гуревича — «Замёрзший путник» — говорит само за себя. Действие происходит зимой. Это, наверное, самая русская поэма Гуревича. Почти фантазмагорическая история о том, как священник и сторож деревенской церкви нашли на дороге замёрзшего путника:

Его принесли. Из-под смеженных век  
слезами стекал чуть подтаявший снег.  
Нашли на дороге, что к храму вела,  
на кромке когда-то большого села.  
Он, руки раскинув, как птица лежал:  
убитая пулей шальной наповал  
в преддверье Крещенья, в сквозном январе  
раскинула крылья, прижавшись к земле...

Поэма не сможет оставить равнодушным ни одного русского человека, размышляющего о судьбах родины, о связи с Богом. Но, читая «Замёрзшего путника», невольно ловишь себя на мысли, что «продуманный Гуревич» готовил тебя к этой встрече. И опять — образы, темы, словно алмазы, рассыпанные по всей книге. Вот «утренняя рыбалка» Господа, когда:

Я окна распахивал настечь  
и в утренней пепельной мгле

следил, как небесные снасти  
раскидывал Бог по земле.

(«Утренняя рыбалка»)

А вот — Он усталым старцем входит в русскую избу:

И впустим старца на порог  
и сына, если есть.  
Зима сурова, так что, Бог,  
пора к печи присесть...

(«Десятка два веков тому»)

И Он же — грозный, страшный, мстительный, ниспосылающий войну неблагодарным русским людям:

Бог удивился: «Кто это им дал?  
Этот огромный неприбранный мир,  
царство неведомой им красоты?  
Кто этот щедрый?» — и взор отведя,  
молвили ангелы: «Господи, ты».  
Выдохнул в ужасе: «Господи! Я?!»

(«Мы доживём и до этой весны»)

Книга «Мои сезоны» — живая, насыщенная, увлекательная. Это не просто подборка стихотворений для знакомства с творчеством поэта. Это именно самостоятельная Книга: всё в ней не случайно и взаимосвязано. При этом, каждое стихотворение — это отдельное событие, представление. Невольно вспоминаются «Русские сезоны» Дягилева — самые известные дореволюционные театральные гастроли русского искусства.

Но самым значительным, на наш взгляд, событием «сезонов Гуревича» стала поэма «Степь», завершающая книгу. Для разбора этого произведения, по-хорошему, требуется отдельная статья. Здесь же мы отметим лишь несколько знаковых моментов. Во-первых, «Степь» — это по всем признакам повесть или даже роман с сюжетными линиями, сквозной историей. Во-вторых, это эпохальное произведение, то есть произведение, посвящённое эпохе, даже конкретному временному отрезку в истории России, так называемому советскому «периоду застоя». В-третьих, это живая история, почти детективная, с любовью и смертью, радостью и горем, наполненная узнаваемыми деталями и признаками бытия. В-четвёртых, это осмысление того, что есть мы и Россия, когда вымысел оборачивается самой что ни на есть настоящей правдой:

Всё — вымысел, что здесь я рассказал,  
любые совпадения — случайны.

Повсюду — степь с её огромной тайной.  
Встал посредине — и вошёл в астрал,

где спаяны не только времена,  
не только судьбы — семена и мифы.  
Идут века. А мы всё также — скифы,  
хотя у нас другие имена.

Тем, кто ждёт от встречи с поэзией «высокого слога», новых рифмованных находок, аллитераций, модернистских тайн — скорее всего не обязательно читать эту книгу. Но тем, кто хочет услышать обновлённое поэтическое русское слово в его классической форме, с современным смысловым наполнением и звучанием, тем, кто хочет обрести поэта-друга, найти для себя ответы на главные вопросы жизни или обрести поддержку в трудные минуты, тем, кто особо ценит в Поэзии мысль и чувства — рекомендуем книгу Игоря Гуревича «Мои сезоны» к обязательному прочтению.

**Елена Скоробогатова,**  
член Союза журналистов России,  
кандидат экономических наук



# МОИ СЕЗОНЫ

## ЛЕТО, ГДЕ ТЕБЯ ЛЮБЯТ...

### ДЕВОЧКА И СКАЗОЧНИК

Идёт девчонка

солнечной Чумбаровкой.

Пришло тепло, окончен ледоход.

Навстречу ей по одному и парами гуляет весь архангельский народ.

А девочка то охает, то ахает — ей хочется обнять весь белый свет и попросить у дедушки Писахова себе — пятёрку, бабушке — сто лет.

Так просят все у мудрого писателя — до блеска трут ладошку старика.

А памятник их слушает внимательно: он знает всё про жизнь наверняка.

### В ЛЕТЕ, ГДЕ ТЕБЯ ЛЮБЯТ...

В лете, где тебя любят,  
радуги яркий мост.

В лете, где тебя любят,  
Небо, полное звёзд.

За руку идёшь с дедом,  
бабушка зовёт вас —  
пахнет от неё хлебом,  
солнце из её глаз...

Что это с тобой было,  
если сквозь туман лет  
видишь стариков милых,  
позабыв, что их нет...

### ЛЕТНЕЕ УТРО. ДЕВОЧКА И ЗВЕРИ

Передо мной в лазурной вышине  
берёзовой листвы мажорный трепет.  
И девочка в распахнутом окне  
сидит на подоконнике и лепит

невиданных, придуманных зверей —  
зелёные и синие фигурки.

А лето расплескало синь морей  
и зелень на дворы и переулки.

Часам ещё спешить до десяти  
июньским утром,

солнечным и чистым...

Дом деревянный с девочкой в горсти  
среди берёз доверчиво лучистых.

И скачет необычное зверьё  
осколками то зелени, то сини.

А девочка — храни, Господь, её! —  
для каждого придумывает имя.

Проём окна — распахнутый покой,  
где девочка красуется, как в раме,  
на подоконнике, кивает головой,  
невидимой поддакивая маме.





## РАДОСТЬ МОЯ

Горы мои высокие!  
Радость моя небесная!  
Что я ещё не выдумал,  
чтобы тебя сберечь?  
Эти глаза и локоны,  
ночи, в которых тесно нам,  
и для других неясная  
тайная наша речь.  
Сжал бы тебя — до косточек,  
выпил бы всю по капельке.  
Что я ещё не выдумал,  
чтобы не отпускать?  
Кто там идёт по досочке  
машет картонной сабелькой —  
Маленький Принц?  
Агушеньки!  
Спать, мой хороший,

спать.  
Так Расскажи мне сказочку,  
так убаюкай песенкой,  
милая моя, светлая,  
ты — моих слёз алмаз!  
Наши дороги разные  
к разным вели нас лесенкам,  
но повернули головы —  
и закружило нас.  
Радость моя небесная!  
Счастье моё неожиданное!  
Где-то над спящим городом  
грозный сверкает меч.  
Имя твоё — заветное,  
ты для любви мне данная...

Что ещё я не выдумал,  
чтобы тебя сберечь?

## ПСКОВ, 3-Е ИЮНЯ

Над Псковом отстоял июньский зной.  
Душа трепещет — хочет на свободу.  
В гранит причальный бьют  
Великой воды.  
Я пиво пью с копчёной «скупбрией»

(Так мне сказали, подавая рыбку,  
Не стал пенять гарсону за ошибку,  
и, скүмбрией закусывая пиво,  
я выглядел уставшим, но счастливым,  
вдыхая над неспешною рекой  
тепло июня, свежесть и покой).

Что этот город мне в моей возне  
мышинной, многолетней,  
многотрудной?

Он спал во мне,  
он вызревал подспудно  
фурункулом на тыльной стороне.

И вот ужо! И вот уже — я весь  
в его пространстве  
крепостном и встречном.

Я пиво пью и думаю о вечном,  
сдувая с пеной родовую спесь.

И если вдруг мне в этот самый миг  
привидится,  
как с небольшой горушки  
спускается — о Боги! — Саша Пушкин,  
поэзии пленительный рюдик,  
сам русский весь, с негроидной губы  
роняющий божественное слово —  
я онемею высохшей полбвой,  
оглохну точкой собственной судьбы.

Он подойдёт. Со мной заговорит:  
«Как наше пиво вам? Вы не были  
в Тригорском?» —  
и город Псков,  
как шарик под напёрстком,  
исчезнет в тёплых сумерках зари

вечерней над притихшею рекой.  
Благодарю везение и случай,  
мне давших повод стать  
на строчку лучше.  
Псков. Пиво.  
Я с копчёной «скупбрией».

## КУЗНЕЦ МОИСЕЙ

— Эй, Мойша, пей! Не хочешь?

Он не слышит:  
кузнечный молот перепонки рвёт —  
тот, механический,  
что не умеет тише...

Кузнец оглохший  
в бой сейчас пойдёт...

Ему не страшен  
вой снарядов грозный,  
он попросту не слышит этот вой.

Призвали — спохватились —  
слишком поздно.  
А он молчал, кивая головой.

— Винтовку знаешь? —  
он кивал, не слыша.  
— Стрелять умеешь? —  
он опять кивнул.

Осенний дождь шуршал соломой  
с крыши.

Боец-мальчонка песню затянул  
не по -киношному,

со страху... с переляку.  
— Заткнись, малец!  
Закапал дождь звончей.  
И вслед дождю берёзы стали плакать  
от тёплой ласки солнечных лучей...

— Какой грибной!  
Послушай, Мойша, рясный...

И ближний дождь глушил  
далёкий гул.

— Кузнец, ты слышишь?  
Значит, не напрасно...

В ответ он улыбнулся и кивнул.

А что потом — не ведаю, не знаю...  
Без вести, но не значит — вести нет:  
Кузнец Моисей  
всё слышит — и кивает  
с войны не возвратившийся мой дед.

## УТРЕННЯЯ РЫБАЛКА

Я окна распахивал настезь  
и в утренней пепельной мгле  
следил, как небесные снасти  
раскидывал Бог по земле.

Вон там, над уступчивым лесом,  
блесна запоздавшей луны  
сверкнула на волнах рассвета,  
цепляясь за гребень сосны.

А здесь, под окном, обречённым  
быть втиснутым в мёртвый квадрат,  
от листьев узорчатых клёна  
тенистые сети дрожат.

Вокруг просыпаются скрипы  
и всхлипы грядущего дня.  
А я — бессловесная рыба —  
беззвучно взываю: меня!

И тень Его — сажень косяя  
от облака или плеча —  
в уста мои рыбы бросает  
крючок золотого луча.

## ОБЛАКА

Высокомерны облака —  
плывут над нашим серым тленом.  
К ним не дотянется рука,  
к ним кровь не добежит по венам.  
Плывут, кочуют не спеша  
по небу, морю-окияну —  
к ним поднимается душа,  
устав от будней окаянных.  
Их алым выкрасит закат,  
пурпурным, золотым, багровым.  
От них не оторвётся взгляд,  
они всегда чисты и новы.  
В них ночью скроется звезда,  
чтоб не сиять над нами даром.  
И всё же: это лишь вода,  
с земли поднявшаяся паром.

## ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Меж туч сверкает нож абрека,  
грохочет музыка беды,  
и небеса буравят реку  
стальными струями воды.

Нигде от бури не укрыться.  
Сбежав с высокого холма,  
скрепит засовами станица,  
дворы скрывая и дома

от странников, случайно пришлых,  
от дурно пахнувших бродяг.  
Осыплют яблони и вишни  
цветения кисейный стяг.

Всё будет вымыто и смято.  
Во влажный, сытный чернозём  
луч запотевшего заката  
вонзится золотым копьём.

И на дубовое крылечко  
хозяин выйдет не спеша,  
затёплится церковной свечкой  
его уставшая душа.

Он оглядит своё подворье  
и вдруг (сам этому не рад)  
почувствует чужое горе,  
после дождя увидев сад.

### **НЕОТКРЫТЫЙ БЕРЕГ**

Туманом окутался берег,  
притих, как нашкодивший кот,  
в надежде, что старенький Беринг  
его, бедолагу, найдёт.

И встанет на рейде корабль,  
обвиснут, пальнув, паруса.  
Притихнут прибрежные крабы  
на четверть последних часа —

и вот уже в тёплый песчаник  
с последним натужным «и – раз!»,  
с весёлой матросскою бранью  
воткнётся заборный баркас.

В ботфортах судьбы командарм  
на берег туманный взойдёт,  
как маршал на новый плацдарм,

как странник на свой звездолёт.

От собственной славы хмелея —  
так могут одни короли —  
ещё ни о чём не жалея,  
он радостно скажет: «Дошли!»...

Туманом окутался берег,  
который никто не открыл.  
А Витус Иванович Беринг  
в тумане незримо проплыл.

## **ЧЕРНОВИКИ**

### **-1-**

О, сколько свалок городских  
моим пристанищем не станут!  
О, сколько встреч меня обманут  
и дружных пьянок на троих!

Не стать уже купцом, певцом,  
красавцем стройным и каталой.  
Я б начал эту жизнь сначала  
с нетронутым судьбой лицом —

чтоб чистый лоб, чтобы резцы  
не сточены о корни страха,  
и красная на мне рубаха,  
и конь ретивый — под уздцы

веду. И вот уже — в седле:  
потоки встречные приемлю  
и голосу судьбы не внемлю,  
мчась по невспаханной земле.

### **-2-**

Он спустился ко мне  
в тёплых сумерках позднего лета,  
после тихой зари,

задержавшейся на куполах,  
светлый ангел любви, говорливый  
посланник рассвета,  
о делах поболтать.

Что ещё можем мы о делах?

Он такой шепотливый, суетливый,  
навязчивый, честный —  
настоящий заботник  
о пьяной греховой душе.  
Он уверен: ему, если что  
обо мне неизвестно,  
то оно не случилось и впредь  
не случится. «Уже!» —  
скажет он, подтверждая  
тем самым значенье  
предсказаний, ниспосланных  
кем-то на крыльях его.  
И подрагивать в зеркале будет  
всю ночь отраженье  
то ли чистой любви,  
то ли тени греха моего.

### -3-

Черновики не возьмется с собою.  
Потомки — отойдите от души!  
Я не был ни героем, ни ковбоем.  
Никто мне не советовал: «Пиши!»

Дышал, как пел — легко и неумело.  
Любил, как мог — как будто навсегда.  
И надо мной то гасла, то горела  
моя звезда.

Хранители несчастий и ненастий,  
дарители удачи и судьбы,  
я говорю вам: «Я не в вашей власти —  
не годеи ни в солдаты, ни в рабы».

В том нет заслуги, но и нет печали.  
Я не храню свои черновики,  
и потому я всякий раз в начале  
дыхания, познания, строки.

### -4-

В начале — только звук,  
вернее, выдох,  
густое «ом-м-м-м» на острие стрелы,  
нацеленной туда, где вход и выход,  
где сны наивны и листы белы.

Где профиль Керн не осквернил  
скрижали,  
готовые принять его строку.  
Где кони неосёдланные ржали,  
а ворон не горланил на суку.

Сады благоухали, высь синела,  
царили постоянство и покой,  
и яблоко познания висело,  
не тронутое Евиной рукой.

И не было ни кружки, ни старушки,  
ни бури, завывающей во мгле.  
«Черновики пусть вам  
оставит Пушкин», —  
сказал Господь, шагая по земле

и ничего от сих не исправляя,  
субботу в оправданье сочинив.  
А мы с тех пор по бытию петляем,  
начальный звук до времени забыв,

найдя себе занятия и тревогу,  
и радость, и печаль, и лик, и блик,  
в который раз то профиль, то дорогу  
рисуя, словно Пушкин, в черновик.

Но в том и разница,  
что на лесной опушке,  
у вечности на ветреном краю  
останутся лишь Керн  
и некто Пушкин:  
она в черновике, а он в раю.

## ОТПУСКНИКИ

Пахнет клевером и кашкой.  
Лето ставит нам зачёт.  
Пусть ошибки да промашки  
бог сомнения учтёт.

Нам же — радость, поле, воля,  
белой ночи непокой.  
Разбежаться, прыгнуть, что ли,  
до небес достать рукой?

И решить, не ставя точку:  
вот он — лучший наш полёт.  
А внизу — пеньки да кочки,  
избы, печи, огород.

А внизу, такое дело,  
суета да маета.  
Мама рано поседела.  
Над отцом — печаль креста.

Под окном цветёт крапива,  
выел пахоту бурьян.  
В тине светлые заливы —  
и встаёт болот дурман

над рекой, когда-то чистой.  
Зарастают берега.  
Где же ты косарь плечистый?  
Где зароды да стога?

Пахнет клевером и кашкой,

костерком да шашлыком.  
Есть ошибки да промашки —  
только мы тут не причём.

## ПОЛУСТАНОК

Устав от пути, на забытом  
сошёл полустанке...

Перрон деревянный.

Обугленный столб с фонарём.  
И два пацанёнка,  
два щуплых чумазных подранка  
смолили окурки,  
вели разговор о своём.

— Что батя?

— Психует, скаженный!

— По пьяни?

— А то ли!

Маманю гоняет. А я убежал от греха.

Привычный и ровный

на сладком припёке июля  
мужской разговор.

За пригорком сквозила река —  
невидимый пояс

в мерцании солнечных бликов.

Я помнил, я знал:

узкой тропкой сбегашь с холма —  
и вот она, радость из горла

срывается криком,  
и эхом на том берегу отвечают дома.  
А здесь пацаны, свесив ноги,

на тёплом перроне  
сидели, качали коросту  
весёлых ступней.

И был я для них,  
как обугленный столб, посторонним.

— Ты чейных? — спросили.

Я тихо ответил: «Ничей».

Пожали плечами: мол,  
что ж, и такое бывает.  
И старший, сочувствуя:  
«Хочешь курнуть?» — предложил.  
Как будто он ключник  
закрытого намертво рая,  
как будто его этой должностью  
Бог наградил!  
Как будто он знал нечто большее,  
нечто такое,  
чему и названия нет у меня в голове...  
И ели напротив стеною

застыли в покое.  
И стихли кузнечики  
в пылью прибитой траве.  
— Ща хлынет, укройся, —  
заметил, который помладше  
и тыкнул цыпастой ладошкой  
в ближайший стожок.

А я вдруг подумал: какой я сегодня  
пропащий,  
как брошенный кем-то дырявый  
холщовый мешок.  
Покорно побрёл укрываться в стогу,  
вспоминая,  
ничейный, неважный двум  
стражникам, двум пацанам,  
ведущим беседу у врат  
ответшалога рая,  
пока их отцы в этом рае  
гоняют их мам.

## **ЗАРЕЧЬЕ**

Сумасшедший сверчок обозначит  
присутствие печки  
в навесной темноте, где не видно  
протянутых рук...  
Заросло лебедой за лесною речушкой  
Заречье.

И в сухой тишине слышен

каждый незначимый звук.

Робко скрипнет крыльцо  
под скупым стариковским  
движением,  
через время — ещё, отражая  
исполненный шаг.  
Здесь размерена жизнь  
на забытые Богом сажени:  
этот дом, этот двор,  
этот каждый привычный пустяк.

«Бесполезная глушь» —  
обозначено в планах кремлёвских.  
«Инвестиции в ...» —  
из портфеля скупых воротил.  
Деревенька моя, ты жива ещё,  
ты не умолкла —  
нарушай тишину, сколько  
хватит стареющих сил!

Нарушай тишину...  
Значит, топится, топится печка!  
Одинокий старик по сусекам  
муки наскребёт,  
испечёт колобка и положит  
студить на крыльечко,  
со старухой своей — сам с собой —  
разговор заведёт:

— Нонче ведро стоит. А я сёдни  
схожу за малиной.  
Будет гриб — наберу на жарёху маслят  
золотых.  
Шостый год без тебя созревает  
ко сроку рябина.  
Только сердце болит,  
будто тянет оно за двоих.

И корзинку возьмёт.

И уйдёт по заросшей тропинке,  
приминая траву  
кривоватым своим посошком...  
А дурной колобок,  
остудив ноздреватую спинку,  
сам укатится вдаль,  
словно мир ему этот знаком.

## МУЖИК В ДОМЕ

Печалится глупый мальчик,  
тоскует балбес о том,  
уйти бы куда подальше,  
покинуть постылый дом,

где мама вчера карманы  
обшарила и нашла  
бычок «Стюардессы» пряный...  
А после отца ждала,

ворчала на кухне узкой —  
передник в обойный цвет —  
с печалью до боли русской:  
«Отца в нашем доме нет».

А тот появился в доме.  
Всё выслушал, взял ремень...  
Нет, жалко, что я не помер  
назло им в тот гадкий день...

А дальше... а дальше — больше.  
То классная, как гроза,  
нагрянет, мозги полощет,  
закатывает глаза.

И снова был вечер скомкан.  
Как жрица, печально мать.  
вздыхала на кухне громко:  
«Где в доме мужчину взять?»  
И снова — отец с работы

срывает с гвоздя ремень...  
Спасибо, что есть суббота —  
у бати в ней банный день.

А сын целовал девчонку  
и от любви столбенел.  
Попробовал самогону,  
завёл себе самострел.

Палил воробьям под гузки  
и яблоки воровал...  
А после на кухне узкой  
от матери узнавал,

что нет мужика в их доме.  
Но вот в один пасмурный день  
отец на работе помер —  
некому взять ремень...

А он собрался в дорогу,  
уже не жалея мать.  
Он ночью прошёл к порогу  
на цыпочках, словно тать.

Но с кухни тропинкой ломкой  
тёк лампы настольной свет,  
и плакала мать негромко:  
«Теперь тебя точно нет...»

Испуганный, что подслушал,  
обратно в постель проник.  
Полночи шептал в подушку:  
«Есть в доме твоём мужик»...

## ...И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Треть лета. Выселки. В зарницах  
блестит вечерняя роса.  
И дым отечества стремится  
опять куда-то в небеса.



Встречая ангела печали  
с весёлым ангелом любви,  
уходит он в такие дали,  
что нам не различить с земли.  
Там, где свободный ветер веет,  
куда не залетит листва,  
наш дым становится светлее,  
теряя горечь естества ...

И пишем мы, о том, что сладок,  
что нам приятен этот дым,  
в гладь ученических тетрадок  
вслед за учителем своим —  
он нам диктует эти строки,  
как будто хочет уберечь  
от жизни на одном уроке:  
и глупых нас, и нашу речь...

Треть лета. Гаснут на просторе  
зарницы под ночной золой.  
Вдохну с крыльца земную горечь  
и вспомню тот диктант былой.  
Не нами вырвана страница —  
не с нами оборвётся связь.  
Всё выше дым печной стремится,  
тем самым дымом становясь.

## ПОПУТЧИК

Со мной ни меча, ни кольчуги.  
В чужую отправился даль.  
Я еду к забытой подруге.  
Мой путь освещает печаль,  
поскольку рифмуется с далью,  
поскольку луна за окном  
с дорожной целуется сталью.  
Стакан наполняю вином

слегка желтоватым и сладким.  
(Мне вспомнились «Три топора» —  
портвейн «Три семёрки» — в достатке  
и с самого, значит, утра,

едва открывались «Продукты»,  
с восьми — покупай коль горит).  
Мы встали. Перрон. Репродуктор  
какую-то хрень говорит.

И гулкое эхо гуляет,  
как уханье хмурой совы.  
И пробует тот, кто встречает,  
вагоны считать с головы.

«Да вот они!» — машет рукою  
и рядом с вагоном бежит.  
Вокзальная бабка с клюкою,  
напившись у стенки лежит.

Её здесь любая собака —  
и та за версту узнаёт.  
Название станции — «Враки».  
Живёт здесь хороший народ.

Об этом поведал сосед мой,  
поскольку из этих краёв  
с фамилией в целом нередкой.  
Представился с ходу: «Царёв».

Я тоже представился: «Кружкин».  
Не знаю зачем и солгал.  
Я ехал к забытой подружке.  
Мне был горше редьки вокзал —

что тот, из которого ехал,  
что тот, до которого мне.  
Короче, глупейшая пьеса,  
как сон в недосмотренном сне.

Поэтому, видимо, дерзость  
и злоба душили меня.  
А этот Царёв больно резвый.  
Кольчугу имел и коня,

и меч, и домину с машиной,  
и двух дочерей, и зятьёв.  
Короче, такая скотина —  
доволен, устойчив, здоров.

Не курит, пьёт в меру, примерный  
во всём семьянин-гражданин.  
А я был как есть — полимерный:  
из очень гулящих мужчин.

Без сна, без меча, без кольчуги,  
с бутылкой дрянного вина  
Я ехал к забытой подруге.  
А дома осталась жена.

Мы выпили с громким Царёвым  
за родичей, жён и детей.  
Открыли вторую и снова —  
за братьев, сестёр... «У моей

сеструхи такая домина!» —  
Достал меня этот Царёв —  
достойный надёжный мужчина  
нигде не ломающий дров,

хозяйственный, ловкий и крепкий  
со станции Враки, простой  
как Ленин в приевшейся кепке,  
как крашенный столб верстовой.

И вот мы на станции встали.  
Вдруг он, перед тем, как сойти,  
сказал мне с улыбкой печальной:  
«Ты это, попутчик, прости.

наврал тут тебе немалёхо:  
слова как дорожная пыль.  
Зовут меня попросту — Лёха.  
И я этот самый, бобыль.

Но что-то в пути размечталось.  
Ведь ты ж мне, попутчик, никто».  
И я вдруг почувствовал жалость —  
как к клоуну из шапито.

Сошёл он на станции Враки,  
рукой на прощанье махнул.  
Его окружили собаки.  
Он к бабке лежащей шагнул.  
Потряс за плечо осторожно,  
помог старой на ноги встать.  
Вошедший сосед односложно  
сказал: «Это Лёхина мать», —

как будто он знал про беседу,  
что мы до него здесь вели.  
К забытой подруге я еду.  
Шумят за окном ковыли,

степные, чужие. Недолго  
осталось — полсуток пути.  
И вот она — матушка-Волга:  
конечная, как не крути.

## **НЕ ИЩИ СЕБЕ ОПРАВДАНИЙ**

Не ищи себе оправданий  
среди роя гудящих зданий,  
уходящих в такую мать,  
в улиц скопище, в дебри мира  
бить баклуши, играть Шекспира,  
а Гуревича — не читать.

Не ищи себе оправданий,  
смирный хоббит и горожанин,

аккуратный и деловой,  
поумневший, почти что старый,  
потерявший причал и парус,  
вставший в очередь в новый строй.

Не ищи себе оправданий  
этой осенью — скукой ранней,  
убаюканной в лодке сна.  
Плюнь на прошлое, стань мужчиной,  
будь как в молодости скотиной,  
точно знающим: жизнь — одна.

Встань к барьеру как некто Пушкин,  
топором заруби старушку,  
надави на земную ось,  
и сорви этот шарик к чёрту,  
пьяным хрипом порви аорту,  
чушь мели и фигню морозь.

Не ищи себе оправданий,  
утопая в своём диване,  
веря в родину и детей.  
Вспомни, сволочь, что мир бездомен,  
позабудь свой пароль и домен,  
выплюнь тюрю из новостей.

Отвори, оторвись, исчезни  
будто ты Одиссей последний  
и надеешься на авось,  
на себя, иногда на Бога,  
и на чёрта совсем немного,  
если пары минут у Бога  
для тебя совсем не нашлось.

Наплевав, что солдат бумажный,  
стань наивным, смешным, отважным,  
а придётся гореть — гори.  
В новом рае скулящих зданий  
не ищи себе оправданий —  
выйди в небо и воспарь.

## ДЕРЕВНЯ. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЕЛЫ

Деревня. Существительных пределы.  
Вот — в небо дым.

А вот — огонь в печи.  
Здесь в каждом вздохе —  
истина и дело.  
Здесь в доме каждом — хлеб и калачи.

Стена лесов расступится пред полем.  
Печаль реки раздвинет берега.  
И колокол звучит по Божьей воле.  
И гладит сердце Господа рука.

## ТЫ

Ты — моё притяжение, мой кислород.  
От тебя моё сердце в полёт  
не стремится,  
только искренне, звонко и чисто поёт  
в клетке счастья  
приручённой преданной птицей.

Ты — моё вдохновение, музыка слов.  
Без тебя мои строчки  
печальны и немы.  
И читаю я нашей любви часослов  
как последнюю, лучшую  
в жизни поэму.

Ты — моё откровение, мой Рубикон.  
Мне с тобой не страшны  
тишина и пределы,  
словно с ангелом счастья  
я лично знаком  
и уныню в душе моей  
нечего делать.

Ты — мой рай, обретенье,  
находка судьбы.  
Я полжизни дорогу искал под собою,  
а с тобой научился  
дышать и любить —  
и распахивать небо над головою.

## В ПУТИ

Бесконечной дороги крошево.  
Даль прозрачна. Печаль чиста.  
Провожает меня нескошенная  
придорожная нищета,  
за которой во мхах, простроченных  
ржавой нитью сосновых спор,  
запах родины заболоченный,  
не разгаданный до сих пор.

## МОЙ СПИСОК

Те письма, что давно  
порвал и выбросил,  
перечеркнув сожженья ритуал,  
останутся не памятью, а вымыслом,  
который сам себе я рассказал.

Та женщина, что первая из начатых —  
бокал вина, не выпитый до дна —  
останется забавой и удачею,  
которая случайна и смешна.

Те странствия, что выпали по глобусу  
в пределах бытия моих широт,  
останутся непройденными пробами:  
а вдруг на этой тропке повезёт?

Та книга, что  
не будет мной написана —  
страницы облетят календарём —  
останется нетронутой и чистою  
как белый снег  
погожим зимним днём.

Всё то, что было мне  
судьбой даровано,  
останется мгновением пути —  
иное порастёт потом полбовою,  
которую любому перейти.

И только то, что всею жизнью  
выстрадал,  
отвоевал у собственных грехов  
пребудет обретением, и смыслами,  
и строчками дописанных стихов.

В том списке ничего  
с приставкой «вроде бы»,  
в нём — однозначность  
и весомость слов.  
Родители. Победа. Совесть. Родина.  
И ты — моя последняя Любовь.

# ДЕТСТВО В РАКЕТНОМ ДИВИЗИОНЕ

## Поэма

### I

А с неба с дробью ледяных горошин,  
где каждый гость не видан

и не прошен,

катился, падал, бил в литавры гром.

И мир казался маленьким и зыбким,  
доверчивым как детская улыбка,  
ранимым как тюльпаны под окном.

Мы в дом вбегали стайкою цветною,  
шебечущей, весёлой, шептунною,  
не разбирая, чья открылась дверь —  
Серёги, Машки, Вадика, Кирилла —  
чья мама там воскресный суп варила,  
чей под ноги бросался

с лаем зверь,

хвостом виляя, требуя вниманья,  
чей папа жил с газетой на диване,  
наспулено за суетой следя.

Какая разница братве дивизионной,  
какие на плечах отцов погоны?  
Важнее — преимущества ремня.

Но нынче град.

Он всех нас примеряет,  
не разбирая, кто с какого краю —  
сын старшины или майора дочь.  
Нас за столом на кухне размещают,  
чай наливают, сушкой угощают  
и по домам не прогоняют прочь.

И папа в трениках,

с вальяжною повадкой,

загадывает старые загадки,  
тем разгоняя собственную грусть.  
А мы, боясь хозяина обидеть,  
не подаём, смыслёные, и вида,  
что те загадки знаем наизусть.

И вот уже мы расплозились по дому:  
играем в прятки. Маленькие гномы!  
Нам всё ещё уютно под столом...  
Но дождь проходит. Мир опять при  
лете.

Все — за порог, где снова солнце  
светит,  
одаривая лаской и теплом.

### II

Дорога бежит вдоль колхозных  
полей —  
клубничных, капустных,  
морковных, свекольных.

И нас не отвадит от мыслей  
крамольных.  
А что сторожат — так ещё веселей!

Ты бегать не можешь?

На шухере стой!

А кто пошустрее —  
меж грядок клубничных.

При этом неважно,  
что он не отличник:  
он здесь — настоящий  
другбан и герой.

Есть банка в руке, я бросаю в неё

одну за одной (а две —  
в рот между делом).  
Да здоровствует лето клубничное,  
спелое!  
Да здоровствует школьное детство  
моё!

Вдруг сторож заметил.  
Его дробовик  
заряжен был солью.  
Он сам — фронтовик:  
в степи под Херсоном осталась рука.  
Но нам ни на грошик не жаль старика.

И Васька кричит:  
«Шухер! Сторож! Бежи-и-им!..»  
А где-то за речкою — пар или дым:  
там кто-то разжёт для ушицы костёр.  
Повсюду расцвеченный  
яркий простор.

И небо без облачка над головой.  
А вслед нам разведчик  
свистит фронтовой:  
за спину ненужный убрав дробовик,  
нам спины с улыбкою крестит старик.

### III

Страна Украина — ещё не страна.  
Служенье Отчизне — ещё не вина.  
А эта Отчизна — Советский союз  
из дружных республик —  
пятнадцати муз.

И нам всё равно, из какой ты из них.  
Важнее, насколько ты свой  
среди воли...  
Мы с Колькой гранату нашли на двоих  
с длинющею ручкой.  
«Немецкая что ли?»

Костёр разожгли —  
ни мозгов, ни ума!..  
Такого добра повсеместно здесь —  
тьма.  
Вон рядышком — Днепр...  
Переправа... Война...  
Служенье Отчизне — ещё не вина.

«Ховайся!» — мы прыгнули  
в ближний окоп.  
Горит костерок. В нём граната лежит.  
А Колька кричит ей: «Ну, чтоб тебя!  
Чтоб!..» —  
и от нетерпения дрожью дрожит.

Я чувствую сам, как вспотела ладонь.  
Несёт от костра нестерпимую вонь.  
Ща грохнет!.. Но гаснет весёлый  
костёр.  
Над нами опять синева и простор.

И мы, осмелев, подбегаем к костру...  
А папы не знают про нашу игру.  
И мамы не знают. Но помнит страна,  
какие следы оставляет война.

А мы подрастаем на этих следах,  
пока на дежурстве военном отцы,  
за совесть Отчизне служа, не за страх,  
надеются: вырастут в мире юнцы  
и станут жить лучше, сытней-веселей,  
чем жили они среди этих полей,  
которые выжгла когда-то война...  
Служенье Отчизне — ещё не вина.

И Колька гранату пинает ногой:  
«Что, сдохла, зараза!  
Фашистская дрянь!»  
И мне говорит: «Всё, Онегин, отбой.

Пошли лучше с Петькой  
половим тарань».

#### IV

Дивизионный пруд.  
Здесь квакают лягушки.  
Здесь поплавки дрожат  
с гусяного пера.  
Кукушка счёт ведёт  
с приближенной опушки.  
Мы ловим карасей с полночи до утра.

Неспешный костерок водицу  
освещает.  
Под утро караси шалют —  
мать их на!  
Мы ловим карасей.  
Нам мамки разрешают,  
иначе бедных мам посводим  
мы с ума.

Наживка — хлеб да жмых.  
Удилище из ивы.  
Гусиное перо покрашено «под кровь».  
Мы ловим карасей. А караси пугливы.  
Но бедных карасей мы ловим...  
на любовь.

Мы любим всех и всё,  
что в этом мире встретим:  
и эту ночь, и пруд,  
и наших строгих мам,  
подвыпивших отцов —  
мы любим всех на свете  
как завещал Христос,  
хоть завещал не нам.

«Придурок, подсекай!» —  
рычит мне в ухо Колька.  
Я подсекаю, но... А что такое «но»?

Рассвет почти что встал.  
Луна танцует польку  
и падает. И всё — кончается кино.

Но Колька всё ещё как  
малолетний злится.  
Он, может быть, и дал  
затрещину мне, но...  
Удилища, крючки  
я приволок. Зарницы  
погасли вдалеке... Такое вот кино.

И тут, как ошалев,  
оголодав с рассветом,  
карась пошёл клевать  
как свежий косят луг.  
Один! Второй! Ещё!  
И нас счастливей нету.  
А Колька — лучший мой  
и настоящий друг.

Разделим пополам  
улов неоспоримый.  
И, удочки смотав, отправимся домой.  
— Ты что?  
— Я спать. А ты?  
Пропыхнув свежим дымом,  
расходимся, вполне  
довольные сумой.

А дома — тишина.  
А дома спят родные.  
И только Барсик-кот, скотина,  
рыбки ждёт.  
Такие времена — знакомые, земные.  
У каждого — свой шанс,  
задача и черёд...

Как подменили мам,  
когда явились внуки

на этот белый свет:  
«И то нельзя, и сё!»  
А мы с тобой росли  
как пламя без науки,  
как вешняя трава, забившая на всё!

Нам было десять лет —  
мы карасей ловили  
с полночи до утра. И отпускали нас,  
не оттого, что так  
неправильно любили.  
Любили ещё как,  
без нынешних прикрас!

Любили пуще сна,  
весёлой водки пуще,  
готовые отдать за нашу ранку жизнь.  
Но знали: раз пацан —  
он должен быть отпущен,  
иначе не взлететь орлу в чужую высь.

Иначе не вдохнуть  
небесного простора,

а после не взвалить заботы на себя...  
Но внуки поднялись —  
и стали мы укором  
для тех, кто нас растил  
по-старому, любя.

«Вы были трынть-трава,  
вы были прощелыги.  
А этих целовать положено в пупок...»  
Да, внукам повезло  
в их юниорской лиге.  
Но не увидеть им,  
как созрел восток,  
как на рассвете дня клевало всё,  
что можно,  
как дрались караси за каждый  
новый клёв...

А дома нас постель ждала —  
таких безбожных,  
как блудных сыновей любовь  
без лишних слов...

## МИНУТА ОСЕНИ

### ВПАДАЮ В ДЕТСТВО

Впадаю в детство галькою речной,  
рукой Фортуны  
брошенный небрежно,  
впадаю в детство  
чистый и безгрешный,  
теперь наполовину неземной.

Я знаньем прожитого наделён:

известен день,  
когда мой брат родится,  
и дни, когда отъезды за границу,  
евреям не напомнят похорон.

Я знаю то, чего не может быть:  
я стану стар, и папа мир покинет,  
чтобы молиться Господу отныне —  
о нас, влачащих скарб не позабыть.





Я в детстве, будто в омуте тону:  
всё помню, даже если забываю,  
какая рядом мама молодая  
и как мы любим Родину одну.

Играем то в слова, то в города —  
от Армавира до Нарофоминска,  
и бабушка с акцентом украинским  
на идиш позовёт меня туда,

где было всё неправильно и не  
дышало одичалою свободой,  
где под одним советским небосводом  
мы строем проходили по стране,

дороги пролагали сквозь леса,  
стремясь достичь

во всём земного рая,  
и все, другой такой страны не зная,  
не сбрасывали время на часах,

меня справедливость на права,  
вперёд-назад крутя лихие стрелки,  
где с пацанами я играл в горелки,  
а с мамой-папой — в русские слова,

где мы потом на кладбище одном  
могил родных всё больше посещали,  
где никому мечтать не запрещали  
в одном строю о чём-нибудь своём.

Будь у меня сто тысяч разных детств  
весёлых,  
разноцветных и прекрасных,

я всё-равно бы выбрал среди разных  
то, самое надёжное, как крест,

где папа называет слово «пар»,  
я отвечаю: «Родина», — и гордый,  
что знаю гимн с первого аккорда,  
за спутником свой отпускаю шар.

## МИНУТА ОСЕНИ

Октябрь, октябрь,  
роняй листву, роняй,  
готовь деревья к изморози жгучей.  
Светлея по утрам, небесный край  
уже не обещает жизни лучшей.

Гусиный крик —  
засохших веток треск,  
сгорающих в осеннем костровище.  
Простились. Тишина стоит окрест,  
и только дождь гриб  
запоздалый ищет.

Захочется сказать: конечен срок.  
Но что слова в столь  
очевидной грусти?  
Октябрь, октябрь, очередной урок  
о том, что осень шанса не упустит

напомнить о конечности пути,  
о бренности желания, по сути.  
Какое счастье — вечность обрести  
в прощания томительной минуте!

## ДОЖДЬ ИДЁТ

Как дождь идёт!  
Неспешный, обложной,  
холодный, каждой каплею весомый  
сучит по крыше замершего дома

с усердьем и печалью неземной.

Как дождь идёт! И надо бы вставать,  
и начинать трудиться и бороться,  
но сердце спит, а дождь  
всё так же льётся,  
нам здесь его рыдания не прервать.

Как дождь идёт! И нагоняет грусть  
в и без того унылые просторы.  
Но я встаю, распахиваю шторы,  
а там всё то же — небо, осень, Русь.

Откуда это ощущение дна,  
конца, границы, смертного предела?  
Вернётся боль в моё земное тело,  
прогнав остатки неземного сна.

И различу сквозь капель пелену  
забор, дорогу, лес почти без листьев.  
Как хорошо, что небо может литься  
слезами на дорогу и страну,

напоминая: в суете забот  
вы у Земли живёте на постое.  
Такое понимание простое.  
А за окном — всего лишь дождь идёт.

## ПОД ЦАРСКОСЕЛЬСКИМ НЕБОМ

О, эти колдовские строки!  
Греховной мягкотью полна  
строфа, и винограда соки  
стекают в будущность вина,

что будет выпито до грамма  
под сенью царскосельских лип,  
под хищный посвист Мандельштама  
и Пастернака частый всхлип.

И вознесётся перекрестье  
судеб превыше куполов.  
И озарится поднебесье  
осенним пламенем стволов.

Зайдётся глупая кукушка  
не к месту в меркнувшей тиши.  
И спросит, улыбаясь, Пушкин:  
«Кто там поэзией грешит?»

Кто тишину строкою косит  
пугая в небе звёздных мух?»  
Под царскосельским небом осень  
читает чьи-то строки вслух.

И, распознав свою пропажу,  
попавшую в чужие сны,  
без зависти к ним Пушкин скажет:  
«Ну, вот же сукины сыны!»

## **ЛИСТВА, ЖЕЛТЕЯ, ПРОСИТСЯ В ЛАДОНИ**

Листва, желтея, просится в ладони.  
В окне стоит опасть готовый сад.  
Вечерний сумрак лёг на небосклоне  
и отдыхает в нём усталый взгляд.

Печали нет, и прошлые соблазны  
не бередят сердечную струну.  
Из нас двоих неоспоримо разных  
заря целует лишь тебя одну.

Оставь мне осень. С нею мы сочтёмся:  
за каждый всхлип я выставлю строку,  
в которой будут и любовь, и солнце —  
всё то, что я на сердце берегу.

Пускай печаль твоей души не тронет,  
не торопись искать следы утрат.  
Листва, желтея, просится в ладони...  
Спешит зима в меха укутать сад...

## **ВСЁ ТАК ЖЕ НА ЗЕМЛЕ, КАК БЫЛО ВСТАРЬ**

Всё так же на земле, как было встарь:  
текут дожди, сменяются сезоны,  
предпочитает осень киноварь,  
потворствуя неписанным законам.

И что б не жить, беззлобно и легко  
вдыхая воздух поутру морозный,  
помахивая правою рукой,  
надеясь, что взлететь ещё не поздно.

Но левая спускается к земле  
за посохом, приветствуя дорогу.  
Откуда-то про стопку на столе  
поют всё так же. Ну, и слава Богу!

Пройди, пройди вдоль  
замерших лесов,  
лиственной прощальной  
ярко обрамлённых,  
и стань звеном в цепи земных оков,  
стань частью непреложного закона.

Не суетись, мой странник, не спеши  
сойти с пути знакомого до боли:  
ещё не всю работу для души  
тебе земная выписала доля.

Быть может, там, где новый поворот  
дорогу выгнул незнакомой бровью,  
тебя прицел невидимый найдёт,  
и будешь ты сражён

земной любовью —

один из многих павших за неё.  
И вскрикнет за тебя высокопарно  
оставленное в зиму вороньё  
над опустевшей площадью базарной.

О, как тогда ты станешь умирать  
неповторимо! Так не умирают  
те, кому дали счастье выбирать,  
кто среди первых с правильного края.

Им не понять твой  
просветлённый лик:  
отброшен посох —  
ввысь уходит птица.  
Всё то же на земле. И только миг,  
один лишь миг  
не сможет повториться.

## НЫНЧЕ ОСЕНЬ ЗАТЯЖНАЯ

Нынче осень затяжная —  
небо ясно, воздух чист.  
Солнце тёплое, играя,  
гонит нежные лучи,  
гладит кудри золотые  
непоседливых берёз.  
Холод Арктики в Россию  
ветер северный принёс.  
Но и он, дохнув не шибко,  
смолк, любуясь на красу,  
будто господу улыбка  
ищет зеркало в лесу —  
там, где озеро яснее,  
чем чужие небеса.  
Облетая, лес немеет,  
тихнут птичьи голоса:  
прежде чем от непогоды  
наготу в снегах укрыть,  
хочет русская природа  
по душам поговорить.

## ОСЕННИЕ СНЕГИРИ

Листва спадёт. Проявятся стволы  
берёзовые, чистые, свечные.  
Над крышами, оставив чернь золы,  
дымы клубятся белые, печные.

Прощай, тепло, до нового тепла!  
Вдруг снегири — откуда?! —  
на рябине.

Ещё зима на землю не сошла,  
ещё река, не скованная, стынет,

а снегири торопят холода.  
Снега готовы к первому паденью.  
На лужах завтра — тонкая слюда —  
ещё не лёд, а только наваждение.

Ещё трава зелёный цвет хранит.  
Нет завершенья. Но всё выше, выше  
клин журавлиный в небеса летит  
и никого с земли уже не слышит.

## ВДВОЁМ

Вдвоём проходят через площадь  
жена и муж.

А ветер облака полощет  
в колодцах луж.

Стихает лето на пределе.  
Пришла пора —  
и наступившая неделя  
желта с утра.

Мы видим: две спины согбенных,  
рука в руке.  
По улицам, что кровь по венам —  
вода к реке.

Дождь припустил.

Им зонт не нужен —

они давно —  
он для жены, она для мужа —  
в своём кино

играют роли друг для друга.

Идут века.

А где-то собирает вьюга  
свои войска.

Всё будет яростней и проще

в набегах стуж...

Но не спешат покинуть площадь  
жена и муж.

## ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

В берёзовые пряди седину  
вплетает осень изморозью первой.  
И как запас в грядущую войну  
готовим мы соленья и консервы.

Как белой марлей

скроет первый пух —

эпохи символ с признаком сезона —  
пустые грядки. Будоражит слух  
прощальный скрежет близкого  
перрона,

где дачники, рябину обобрав,  
последнее увозят в город — в зиму.  
Из трёх вагонов разбитной состав,  
грязно-зелёный, впишется в картину

прощания. И запах тишины —  
арбузный, чистый — осени приметы.  
Оставим в прошлом прежние чины,  
забудем и обиды, и секреты —

помыримся и примыримся с тем,  
что — дачники для родины, уставшей  
от наших вожделиний и проблем,  
от наших обещаний нашим павшим...

О, как люблю я этот переход  
из осени в покой зимы грядущей,  
когда мы все — один сплошной народ  
запасливый и всё же неимуший!

Прощай же, дачный лжекрестьянский  
рай,

до вешней песни, если доживётся.

Истошным скрипом

в спину мне сарай  
как будто на прощанье рассмеётся.

## О ГЛАВНОМ

Осень стоит золотая —  
золото кружит и льётся.  
К вечеру первая стая  
на островке соберётся:  
в центре болотца лесного  
гомон стоит журавлиный.  
Утро над гатью еловой  
встретят взлетающим клином.  
Чистого неба вам, други!  
Ясной хорошей погоды!  
Хлёсткие зимние вьюги  
нас заметут на полгода,  
скатертью снега льняною  
землю покроют — на счастье.

Вы возвращайтесь весной.

Главное — вы возвращайтесь.

## **ЧАС ПРЕДУТРИЯ. РАННЯЯ ОСЕНЬ**

Час предутрия. Ранняя осень.  
Влажный сумрак парит невесом.  
И тугие дождливые косы  
распускает заря за окном.

Проступает дрожащая тропка,  
уходящая в поле с крыльца.  
И лучами тревожными, робко,  
солнце гладит морщины лица.

Отступают холодные тени —  
и да здравствует ласковый свет  
увядания и ... вдохновенья,

о котором поведал поэт!

Час предутрия. Плач литургии —  
и вплетает свои купола  
в просветлённое небо Россия.  
Осень ранняя. Кромка села.

Нам ещё ничего не открылось.  
Мы ещё не умеем прощать.  
Просто тёмная даль прояснилась.  
Просто мёртвая стёрлась печать.

Облетели родные деревья,  
стали ближе, лишившись причуд.  
Просто осень, тропинка, деревня —  
мимо сердца уже не пройдут.

## **В ОБЩЕМ КРУГЕ**

### **Поэтическая повесть**

#### **Пролог**

Нет, всё-таки нельзя себя держать в узде излишне долго. Боже правый!  
Когда вам всё же иноходь по нраву, не лучше ли без седока бежать?.. И побегу.  
Неужто обернуться на быт, на спад давления в душе? Неужто замереть на  
рубеже, с которого, быть может, не вернуться?

Мы сотни раз измучены собой, стержовым выяснением отношений, отсутствием поступков и решений, наличием старых истин и судьбой измучены.  
Так стоит ли, друзья, себя ещё неволить в стойле правил?.. Всё, вот вам всем —  
и крылья я расправил. Ну, уж теперь в обратный путь нельзя.

И я лечу в арбатские края. За чем-нибудь. За барахлом — причина, которой я б гордился как мужчина, когда б она хоть трогала меня. И благо — там и сям переучёт, и далеко московский Дом Игрушки, а в ювелирном — вовсе побрякушки. И только книжный двери распахнёт, а я зайду.

Я, в общем-то, люблю и запах книг, и лёгкое шуршанье страниц, имён знакомое мельканье — в одних названьях жажду утолю по чтению. Но всякий раз тревожно боюсь, что всё заметить невозможно в таком огромном скопище

томов (беда всех Книжных Каторжных Домов). И трогаю, листаю, задеваю, как будто в самом деле понимаю хоть что-нибудь в корейском словаре — не больше в ноябре, чем в октябре. Неведомый учёный Бряк-Микитов в мой взгляд тревожный умудрится влезть — и неизвестно, для кого в том честь. Но вдруг... Всё — вдруг. Ах, как это избито!

Книжоночка, книжулечка — пустышка, тонюсенькая этакая книжка, бумажный чёрно-белый переплёт. Её знаток, конечно, обойдёт. Но этой сиротливостью своей она мне приглянулась: прямо к ней я через руки (хорошо не ноги) весь потянулся, подцепил... О, Боги! Не что-нибудь, а «хроника в стихах». Уже смешно, тем более — сегодня. И автор — женщина. Страдания Господни! Смотри-ка ты, Ахматовский размах! Ну, Белла там, ну — кто ещё? — Марина. Ну, Вероника. Пусть уж их! Но эта Лида — ни погон, ни чина! — и ведь туда же: по мужичьи — в стих. Ох, эти мне потуги к равноправью!.. Ну, ладно, Марья — та умом грешит. Так ведь стихи печать не спешит, хотя и пишет (чаще без заглавья).

Да, кстати, срочно — пара слов о Маше. А то всё я, да книги, снова я. А, надобно признаться, повесть наша не обо мне, скорей, о ней. Тая, как жемчуг, эту истину до срока, я здесь проговорился ненароком. Так что ж поделать? Слушайте, друзья.

## - 1 -

Итак... (Здесь не придумать краше того, как раньше Пушкин начинал. И это лучшее, что в детстве я узнал из лучшего романа. Дело ваше меня за перифразу упрекнуть, но надо ж как-то отправляться в путь!)

Итак: она звалась Мария. Было в ней не то, что шармом на манер французский мы называем, обедняя русский и без того маневренный язык, — в ней жил полёт над свечкой мотылька, хотя она и не была легка. Она казалась разной каждый миг, при том была безумно постоянна в тревожных монологах покаянных. Сто раз в других знакомые черты в её лице казались чем-то новым, но всякий раз оправою очковой она вас низвергала с высоты. И это сочетание всего, что, как ни ставь, в быту не совместимо плюс этот взгляд — на вас, сквозь вас и мимо — дошли-таки до сердца моего. И мне открылось: я ещё не слеп, хотя могла и эта дрянь случиться. Мне приходилось слепоте учиться, чтоб с маслом есть свой пресноватый хлеб...

Короче, Маша — это некий гид в страну, где всё ещё бытуют страхи за Николай Гаврилыча на плахе, за Трубецких, Волконских и других, не умечающихся в этот стих. Всё это было и в моей судьбе. И вот, друзья мои, когда б не Маша, я б жил спокойно в мирозданье нашем. Но мы не выбираем встреч себе...

Уж как ей удалось перенести всё то, что многим обломало плечи, не то, что крылья, помыслы и речи — её секрет. Но Боже упаси вас без оглядки

с ней играть в стихи, структурного анализа не зная! Здесь для бескрылых вахта неземная: того гляди, с размаху — в лопухи. К тому ж, она и внешне хороша. И если вы не в полных идиотах, то разглядите некую породу. Но у породы были сторожа: великие и менее, живые, родные, близкие и некие другие, ушедшие в незримые края, где ждут и вас, и Машу, и меня. Такой, хоть и большой, но ясный круг, проходит сквозь который только друг. А, самое печальное, она хоть и старалась быть посередине, но — предостережение мужчине — едва ли с кем-нибудь была одна...

И в этом что-то есть от палача: как только вдруг пред нею наизнанку и залепечешь что-то сгоряча — глянь: Пушкин у неё из-за плеча, иль вовсе незнакомый вам Просянкин. То Лотман, то Ахматова. А то, откуда-то из чувственного плена, вдруг выплывет троянская Елена — но отчего во Фрунзе и в пальто?

И все они, кто б ни были, ваш непреложный путь пересекают и вас глазами Маши принимают, и — чёрт возьми! — как будто понимают. И Лермонтов, и Блок, и Бируни... И, слава Богу, все не соберутся. Но к ним поочерёдно провожать (а даме сердца надо угождать) вам Машеньку, потом домой вернуться. Одуматься, но поутру проснуться с одним желаньем всё начать опять. И повторить все эти наважденья. И здесь, скажу я вам, одно спасенье: найти бойца и вахту передать...

Она своим уделом быть другой делилась щедро так, себя пугаясь, что трудно не понять: она — другая, и только в этом может быть собой...

## -2-

... Но что ж я? Эко, братцы, занесло из Дома Книги!.. Надо возвращаться.

Придётся с Машей на чуть-чуть расстаться, хоть мне, признаюсь, это нелегко...

И всё-таки я книжицу открыл. Как названа! Почти претенциозно. Но в этом обрамлении вискозном вдруг некто словом-ключиком забил — и ожил стих, и быт заговорил.

Сначала выплыло откуда-то «богиня». Потом назад — ого! — «филологиня». Но это ж безусловный плагиат: всё из того, что я дарил Марии. Ах, Лидочка! Но вы-то где парили и мой укроп стащили в свой салат?

Ах, нет же. Нет же... Истина витает, как видно, где угодно ей самой. (Ах, Лидочка! Как там у вас с сумой, которую наградой не считают?) Мы оба вместе с вами об одном, хотя, конечно, разные подходы, но всё равно под общим небосводом к одной звезде ослепшие идём в остервенелом мире по стране, по взорванному бытом поколенью, которое не знало о войне, но так и не достигло окрыленья. Идём, легко иронией звеня — вы смотрите достойно, сексуально и шутите, но шутите печально (возможно, научились у меня).



При этом жили мы вполне поврозь и до сих пор об этом не жалели. Но, слава Богу, встретить довелось Вас, Ваша честь. На будущей неделе забудется, быть может, Ваш роман в стихах среди забот и драм семейных, призывов громких, чувств келейных забудется пленительный обман... Но в этот миг — да, как-то сразу, вдруг — я понял: мы вступили в общий круг, в союз, где было б всё трагично, когда б не взгляд ваш ироничный. Ваш «Круг общения» и мой пленён единственной Звездой. И вместе с вами мы сочтём, что Маша здесь вполне причём.

Ну, как я мог вас не купить, не притащить роман в общагу!...

Ах да, расходую бумагу — опять придётся отступить...

### -3-

Увы! дневной аспирантуры она была тогда раба и хоть была совсем не дура и о наличии горба невидимого знала точно, но всё лепила из себя среди отношений пустосклочных какую-то почти богиню, спасающую всех и вся. Монахиня-филология, а кто, скажи, спасёт тебя?!

Я этих трат не понимал, но с вожделием внимал её всегда тревожной речи и — мысленно, конечно — плечи в своих объятых согревал. Как это подходило ей!

Но был в кругу её друзей, один, кого назвала «братом». Ему пришлось не раз с досадой об этой роли пожалеть, когда друзья её бросали. (Увы! они себя спасали, чтобы пожить ещё успеть, поскольку Машенькин псалом в них тоже совершал надлом).

Ему Мария доверяла весь бред истерзанной души, к нему взывала: «Разреши клубок проблем». (А их немало). И он с бесчувствием вандала пытался что-то объяснять, в надежде Машеньку понять.

Он стоек был определённо, когда Марию выручал: в минуты взлётов окрылённых с земли ей руку подавал. Он среди всех её верзил Марию больше всех любил: беспрекословно принимал её бунтарскую натуру, все выверты её души. Она б сказала: «Не дыши» — и он бы задохнулся сдуру. Мария в этом волокла («уж не такая мы простушка») и за собой его вела, как мальчика ведут за ушко — не в наказание за пустяк, не в назидание, а так, на всякий случай, для остратки, насилье сочетая с лаской. И это нравилось ему, но признаваться самому в сём поведении безвольном для Миши было слишком больно. Здесь я анализ опускаю.

Знакомьтесь: Миша Воропаев. Эстет, психолог, аспирант, употреблявший свой талант на то, чтоб Машеньку беречь от ей самой ненужных встреч. Но как душевный врач (при том лишь для её выздоровленья), когда предательства, сомненья косили Машу что по чём, когда уже лечиться нечем, он с новизной искал ей встречу. И в этот миг, мои друзья, на счастье, подвернулся я.

Я понимал, что роль лекарства не слаще горького мытарства, когда ты нужен лишь за тем, чтобы казну пополнить чью-то... Но в ту блаженную минуту, я согласился без проблем. Ведь я и сам чего-то стою: играли досыта со мною, лечили мной, и я лечился и этим играм научился... Когда б одна была Мария, я б — может быть — не рисковал. Но рядом Миша страховал, тем более в его «фартире» о те поры я проживал и долг за это возвращал — хотя не самый лучший способ, но — «у матросов нет вопросов»...

#### -4-

О, это иго общежитий, где больше сплетен, чем событий, я испытал его сполна и даже муть черпал со дна. Мне было страшно, как же дышит всем этим, нет не Маша, Миша и ухитряется — ей-ей! — блюсти себя, следя за ней.

Я согласился добровольно на наш безмолвный договор, и не понятно до сих пор, когда переиграл невольно. Но Марья так воспринимала мои стихи, потом меня, что мне уже казалось мало разыгранного нами дня...

Октябрь — эпоха листопада. Он и тягуч, и мокр, и хмур. Но лучше времени не надо для поэтических натур. А я октябрь не люблю, я чаще в октябре тоскую и быть непонятым рискую в том, что всё это лишь терплю. И, может, потому что сыро и даже мысли не сухи, набрасываюсь на стихи и сам себе творю кумира. В такие тягостные дни мне кстати Маша подвернулась. Она, конечно, вострепелась (ну, в этом с нею мы сродни): и начала писать ответы в стихах на все мои стихи. ...И кончилось для нас «хи-хи», и начались у нас секреты.

Наш поэтический рефрен прошёл по дебрям общежития не всенародным, но событием. Во мраке одряхлевших стен он нечто предлагал взамен привычным дрязгам, пересудам, мытью костей, полов, посуды. И всё бы в целом ничего, но я не выдержал его. Когда, в какой из лёгких строк, как говорится, доигрался, в избытке чувств перестарался — весь опыт мне пошёл не впрок. Теперь — спасите наши души! Короче, втрескался по ўши.

Учитесь властвовать собой. Как это верно, Бог ты мой!

#### -5-

Я говорил себе сурово: «В узду ретивого коня». Но появлялась М. Чернова и в мокрый парк вела меня...

То Лунин был, который дворянин, который декабрист, который сдуру задушен был. То был октябрь, сплин, Москва — любовь, Москва — аспирантура. Я что к чему, как равно, что по чем судить не мог, лишь путал показанья: то мне в Москву за солнечным лучом, то я туда же за научным званием.

И в маяте осенних камасутр я разучился думать поневоле и только ощущал дыханье утр у лунинской церквушки на приколе среди берёз — осенних

стриптизерш. А рядом та, которая другая — из края незагубленных озёр, из омуля нетронутого края. Скупа на «да», щедра на «не хочу», открыта всем — дождю, ветрам и листьям. Но лишь не мне, не моему лучу, который был, казалось мне, осмыслен в своей лучистой ясной чистоте, в своём неповторимом оперенье...

А все, кто раньше у неё — не те. Они — ничто, простое невезенье...

Теперь свезло. Кому свезло? Мой грант давно был спущен на прогулки с Машей. Жена гордилась: муж был аспирант, не просто муж, но аспирант был даже. И оттого мне делалось горшей...

Когда мне Машка в пятый отказала, пытался засадить себя взашей за стол и написать пять фраз сначала: «Предмет, объект, гипотеза, зачем (ну, в смысле актуальность этих бредней), а также метод (коим я „проем“ себе местечко с обувью в передней наукообразцового жилья пусть с небольшим, но званием кандидата)».

А Машка, недобытая моя, отказывала мне холодным взглядом и так при этом, чтобы холод утр с меня не стёр вчерашних наваждений и, как бы ни был я женат и мудр, не вышагнул за круг её творений, где Лунин также был, как Пушкин и Лермонтов (это Машкина находка: «Кровей английских»). Ломтик ветчины и за углом аспирантуры водка — вот всё, что оставалось мне потом, когда я в дверь её стучался лбом. И хоть был неудачен мой проект, предмета не менял я и объект, поскольку был заведомо обманут своею же гипотезой сполна: в Москве любые спишутся романы, тем более, что осень — не весна.

## -6-

И таял грант, и мой «научный папа» меня хотел, поскольку был из тех. А я Марию даже не облапал, но был пред ней ответственен за всех, кого она когда-либо любила (ещё немного — всех мне назовёт), кто обманул и, называя «милой», предательски «отвёл на эшафот её тогда ещё живую душу»... Теперь — увы... пустыня... камень... лёд...

— Что замолчал? Ты струсил?

— Я не трушу. И более — совсем наоборот...

Я понимал: «включаем идиотов» — динамо крутим (ясно, кто из нас). И, наконец, в последнюю субботу я ей сказал: «Всё. До свиданья. Пас».

Мы, как обычно, к Лунину попёрлись, вернее, к церкви, где венчался он. Я был простужен и болело горло, и мне ни в чём не виделся резон.

С профессором мы объяснились резко — я был и смел и пошл на все сто. А он печален, как святые с фрески, в до пят немодном, вытертом пальто. Он мне сказал внушительно и точно: «Всё не о том. Вы просто — пустота». И я сошёл с дистанции досрочно, не покидая первого листа, где было всё без изменений прочих: предмет — черта, объект — черта-прострел, гипотеза —

обрывки многоточий. Короче, лист не тронут был и бел.

Одно крыло освободил от груза. Осталось левым помахать Москве, где из необретённого союза одна Мария бродит по листве...

Она взглянула на меня и мимо... Над шапочкой дурашливой её сияли купола навроде нимба, тем подтверждая — это не моё. Потом вздохнула мнимом-томятно, вслед вздоху шёпот с языка послав: «Какой дурак»...

В берёзовых колоннах ворон чернел горляющий состав. Маячил рядом дворник-алкоголик, ловил момент — за трёшкой подскочить. Болело горло до сердечных колিক, я сглатывал и корчился. Ткачи небесные затеяли по новой из пряжи облаков дожди тянуть...

Меня взяла под руку М. Чернова — и мы в обратный тронулись с ней путь. Дверь не открылась. Не стекли одежды и на пол — шёлк. Не общая кровать...

... Какие ж в этой жизни мы невежды! За что нам кандидатов раздавать?

### -7-

Наутро — будто не было вчера, как будто ни о чём не говорили... И слава Богу! Всё, старик, пора. Попели, поиграли, напылили.

И с наступающей недели я возвращаю Мише «нож»: ему привычнее быть при деле, как Тиль он в эти дебри вхож...

В такой вот час, в такой вот миг мне подвернулась ваша книжка. О, Лида, я ещё мальчишка, коль снова к женщине приник. Ура! — спасительный родник. Вы отрезвили мой поступок. Вы возвратили мне сюжет. И больше глупых нет уступок, и лишних откровений нет. Но мы друзья уже навеки, поскольку всё же человеки — и Воропаев М., и я, и Машенька — увы! — ничья...

Пора. Уж близится концовка, где главное бы не забыть: чтобы любить, нужна сноровка, в ответ не требуя, любить. Но это всё для философов. А мы замкнём случайный круг: назло душевным катастрофам дай руку мне — до встречи, друг. Храни вас Бог — тебя и Мишу! Того же пожелайте мне. Мы, слава Богу, не одне! Я ваши голоса расслышу в эфире времени, в быту. И в очищающем бреду я вспомню вас — тебя и Мишу — и легче в дальний путь уйду.

Пусть будет вечным этот круг и никогда не разомкнётся. И пусть найдётся новый друг, взамен ушедшему найдётся. Не от того, что просто нам менять друзей, как обстановку, но на ветру стоять неловко, оберегая свет свечи, живя по собственным часам, чтоб кто-то подошёл в ночи, встал в общий круг, прижался к нам.

Спасибо вам, мои друзья. Спасибо вам за этот случай. За то, что с вами был я лучше. И это вычеркнуть нельзя.



## РУССКАЯ ЗИМА

### ОСТАВЛЯЮ ПРОЖИТОЕ ЛЕТО

Оставляю прожитое лето  
для другого, свежего поэта.  
Он придёт весёлый, молодой.  
Он найдёт счастливый золотой.  
Станет в море ласточкой влетать.  
Станет вирши девушкам читать.

Я же пью креплённое вино  
и смотрю в дождливое окно.  
За окном всё то же, как всегда:  
в песне намокают провода,  
с песней улетают журавли  
к песням нам неведомой земли.

Мы же станем зиму коротать,  
на морозы с вьюгами роптать,  
радоваться снегу по утру,  
радоваться зимнему костру:  
разожжём его среди двора —  
то-то будет рада детвора!

Что б не жить нам в этой простоте,  
где нет места злобной суете?  
Где не надо ждать да выбирать,  
прошлое из прошлого стирать,  
имена менять на имена  
и терять навеки времена.

# ЗИМА. НАЧАЛО

## –1-

От листопада к снегопаду  
и даже вздох не уловить.  
А в атмосфере перепады,  
мешающие тихо жить  
и множить ощущение счастья  
от сопричастности тому,  
как снег ложится на запястья,  
следы на снег — по одному,  
цепочкой, через поле, к лесу.  
А дальше?..  
Может, к небесам.  
Но атмосферный столб не к месту...  
Но две таблетки по часам...  
Но обязательства...  
Но сроки...  
Преодоление преград...

Вот сколько без тебя мороки,  
неспешный первый снегопад!

## –2-

И кружила она, и не думала падать,  
потому что снежинка, а не снегопад,  
потому что ледышка,  
                    познавшая радость  
тает ближе к земле.  
Замечательный сад  
замечательным стал,  
                    принимая ветвями  
эти снежные радости, этот полёт.  
А какие-то мудрые приготовили  
  сени.  
А какие-то скучные припасли  
  Новый год.

Ну, какая вам разница,  
если это неважно:

быть запасливым, правильным  
  как «раз-два-три»?  
Снегопад, если первый,  
  то только однажды.  
В нём снежинку свою  
  не спеша рассмотри.

## –3-

Десятка два веков тому  
и тысячу оков  
поверили вдруг одному  
двенадцать дураков.  
Пустыня жгла ступни. И вот,  
огнём своим палим,  
он за собою их ведёт  
в святой Иерусалим.  
Он будет предан и распят,  
не ведая того,  
что не один ещё солдат  
погибнет за него,  
что, по прошествии веков,  
с молитвою к нему  
два миллиарда дураков  
начнут свою войну.  
Одни кричат: «Он был таким», —  
и крестятся на взмах.  
Другие отвечают им:  
«Единый Бог — Аллах».

И открывает новый век  
последнюю войну.

А я смотрю на первый снег  
и слышу тишину.

И всё мне кажется, что Бог  
пустыни и огня,  
среди снегов едва ли б смог  
вступиться за меня

и за него, и за того,  
 кому неведом страх.  
 Простим же грозного его  
 в заснеженных полях.  
 И впустим старца на порог  
 и сына, если есть.  
 Зима сурова, так что, Бог,  
 пора к печи присесть,  
 к простой языческой печи.  
 Вон как дрова горят!  
 Попей чайку, да помолчи  
 без преданных солдат.

Снег нынче падает густой,  
 валит три дня подряд.  
 И воет ветер верстовой,  
 и сполохи горят.  
 Молчанье наше, Боже мой,  
 ты не сочти за труд.  
 Пусть этой тихой зимой  
 все войны подождут.  
 Устанешь вдруг от тишины,  
 считать её стёжки —  
 у нас за тем припасены  
 салазки да снежки.  
 А после банька — и на печь  
 за снами до утра.  
 Тебе же, Господи, прилечь  
 давным-давно пора.

Тебе ведь тоже нужен рай  
 без горя от ума.  
 Приди же в наш неспешный край,  
 где ждёт тебя зима.

–4–

Неспешный снегопад. Начало.  
 Снежинка кружится в окне.  
 Сад снегопадом укачало,  
 и сад качается во сне.

Храня покой, и тишину,  
 и сна блаженный час,  
 оставив правду и войну,  
 гостит Господь у нас.

## ОБОРВАНЫ ЛИСТЫ КАЛЕНДАРЯ

Оборваны листы календаря.  
 Наш год остался в стане пережитых  
 цветов и вьюг, июля, декабря,  
 случайных встреч,  
 незначимых событий.

Он боле не научит ничему,  
 теперь мы вне игры его и правил.  
 И глупому упрямству моему  
 он на прощанье прикус не исправил.

Не выдал индульгенцию тебе —  
 отрёкся от твоих любовей ярких,  
 когда не только на моей губе  
 твоя помада пламенела жарко.

Меня он, впрочем, тоже не жалел:  
 не стал прощать за пошлую  
 наивность  
 и веру в обоюдность лёгких стрел,  
 короче, в то, что всё в любви взаимно.

Один — один. Ничейный результат,  
 и далее турнир не интересен...  
 Но вновь сведёт угрюмый  
 циферблат —  
 мир для двоих, как ни крути,  
 так тесен.

— Как ты живёшь?

## РУССКАЯ ЗИМА

- А ты?
- И я живу.
- Ты помнишь?..
- Помню...
- Может быть?..
- Не стоит...

Облизываю нижнюю губу,  
забыв обман, что на любви настоян,

забыв отраву, выпитую мной.  
Корм не в коня,  
хотя в меня был выстрел...

И я дрожу мальчишеской губой,  
пока ещё нетронутой и чистой.

— Нет, всё-таки... —  
и ну читать стихи,  
из прошлого магические строки.  
А ты одним движением руки  
перечеркнёшь печальные уроки:

— Поехали! —  
и сорвана узда,  
седло долой, подковы на задворки...  
Сияй, моя обманная звезда!  
Судьба, катись бутылочкой под горку.

И снова твой змеиный поцелуй  
оставит на губе моей помаду.  
Следы сотрёт январский ветродуй  
и году передаст меня в награду:

— Прими, юнец! Крути его, гони.  
Он сам хотел — и дважды  
в реку входит.

...а календарь опять срывает дни  
..и ноет сердце — видно, к непогоде...

Снег опустился на дали мирские.  
Изморозь прячет изломы ветвей.  
Щедро в меха наряжает Россия  
лес, и дорогу, и пешеходов:

сын ты её или дочь, или странник —  
все, кому выпало нынче идти,  
будут её охраняемы дланью,  
оберегаемы в долгом пути.

К радости купол небесный осветит  
солнцем поутру, звездой в ночи.  
Тех, кто замёрз — обогреет, приветит  
тёплой избой, пирогами в печи.

Посох, котомку, топор да верёвку —  
всё, что несёшь, оставляя у дверей.  
В баньке напарит до лёгкости лёгкой,  
стопку подаст запотевшую — пей!

Выдохни, выпусти злобу да зависть.  
Чистому гостю пристало чайку —  
он у России на травах заварен,  
тех, что всё лето росли на лугу.

Вот и постель пуховая готова:  
спи, да придут к тебе светлые сны!

Но говорят, что Россия сурова:  
поводы ищет для драк и войны.

Что тут ответить радетелям страхов?  
Клеветники испокон не молчат.  
Рвать на груди — не губите! — рубаху?  
Или медведем угрюмым рычать?

Если ты сын, или дочь, или странник,  
и у тебя не закрыта душа,



будешь осыпан серебряной данью,  
будешь любовью согрет не спеша.

Если ты что-то другое — прости уж! —  
выродок собственный,

пришлый чужак,

будешь ты чувствовать

зимнюю стужу,

будешь входить не в избу, а в барак.

Снег для тебя будет грязным

и чёрным,

утренний свет — грозной тьмью

ночной.

Ты не заметишь, как чистый,

упорный

всходит подснежник здесь каждой

весной.

Так что живи где-нибудь за буграми:  
в сторону нашу зазря не ходи:

вдруг захлебнёшься пургой

да ветрами

и ненароком замёрзнешь в пути?

## И ТОЛЬКО СНЕГ

—1—

Кануны нового. Кануны  
ниспосланы. И только снег —  
на опустевшие перроны,  
на проходящие вагоны,  
на бесконечный тёмный век.

Менялы времени — за звёзды  
скупают зябкие мечты.

И только снег — ещё не поздно  
вдохнуть всей грудью этот воздух  
последней годовой версты.

Замёрз декабрь полусонный  
вдоль навсегда уснувших рек.  
На белом — чёрные вороны.  
Кануны рождества. Кануны  
ниспосланы.

И только — снег.

—2—

За спасением — очередь.

Где-то — трель соловья.

У России — есть дочери.

У страны — сыновья.

Поминальные скатерти.

Вдалеке — бубенцы.

Воскормили нас — матери,

защитили — отцы,

охранили канонами,

васильками во ржи,

чтобы стали мы жёнами

чтобы вышли в мужи,

чтоб душою не порчены

и, любви не тая,

были с Родиной дочери,

со страной сыновья.

—3—

Ничто не вечно под луной.

Уносит старый год привычки  
курить в разбитой электричке  
и маяться своей виной.

И суетиться, жить спеша,  
не веря, что переиначить,  
сменить ошибки на удачи  
«смогёт» бессмертная душа,

и женщина, что не с тобой,  
вдруг согласится стать твоею.  
«Ну, что стоишь? Прими левее.  
И (между делом) рот закрой!» —

плечом толкнули, проходя,  
не обернулись. Бог им в помощь!  
Друг друга мы уже не вспомним  
и двух секунд не погодя.

Уходит год. И длится век,  
и обещает перемены.  
Но что-то быть должно нетленным.  
Неужто — законный снег?

Он, ниспадающий, живой  
единственный в своём движении —  
нерукотворное спасенье,  
небес посланник кружевной.

И нам, греховным и земным,  
живущим наспех и беспечно,  
напомнит он: жизнь — бесконечна,  
в ней только ваше счастье — дым.

## МАЛЬЧИК И ДЕД МОРОЗ

Проём окна гирляндой украшен  
и мишурой усыпан чистый пол.  
Мне Дед Мороз нисколько  
не страшен,  
не от него я спрятался под стол.

А он — на корточки и протянул  
конфетку.

Я заглянул в лучистые глаза  
и в них узнал весёлую соседку,  
любившую нам варёжки вязать.

Сбежав от мам усталых и печальных,  
мы собирались в наш весёлый мир  
вокруг неё на кухне коммунальной —  
вся детвора из двадцати квартир.

Однажды я спросил у мудрой самой:  
«А кто у тёти Веры на стене,  
в погонах?»  
И ответила мне мама:  
«Её жених. Остался на войне».

И мне приснилась чаща бабкоёжья,  
и тёти Верин плачущий жених,  
бредущий напролом по бездорожью,  
в погонах очень новеньких своих.

А тётя Вера, как сестра из сказки,  
зовёт: «Ты где, Ванюшенька? Ау!»  
Я так хочу ей подарить подсказку,  
но даже слова молвить не могу.

И как-то раз, за самоварным чаем,  
под взглядом человека со стены  
спросил у тёти Веры не случайно:  
«Зачем его не забрала с войны?»

Глаза прикрыла, будто не живая,  
она затихла с поднятой рукой,  
потом, меня за плечи обнимая,  
шептала, плача: «Мой ты дорогой!»

Проём окна гирляндой украшен  
и мишурой усыпан чистый пол.  
Мне Дед Мороз нисколько  
не страшен,  
не от него я спрятался под стол.

## ПРОВОДЫ

Переменится погода.  
И просеется мука:  
через сито небосвода  
снегом выпадет тоска.

Узнаю Господню руку:  
хлопья белые ронять,  
чтобы Божию науку  
было проще нам принять

в онемевшем снегопаде,  
где превыше слов и сил  
тишина, как на параде,  
что пред маршалом застыл

и вдохнул в единой страсти  
горечь зимнего костра,  
чтоб на маршальское «Здрате»  
грянуть дружное «Ура-а-а!».

А пока не развязали  
ветры зимние войну,  
посиди, брат, на вокзале  
и послушай тишину.

Прикоснись к лицу любимой,  
посмотри в её глаза  
и побудь неотделимым  
от неё хоть полчаса.

Ну, а там: «Эй! По вагонам!», —  
и под окрики «ать-два!»,  
задыхаясь самогоном,  
на войну попрём, братва,

чтобы ей, стержню этой,  
неповадно было впредь,  
нарушая все запреты,  
посылать нам дуру-смерть.

В тишине приказ читают  
офицерские чины.  
И скорбит она, и тает  
у подножия зимы...

Никого из смерти поправших,  
в грудь приявших горний свет,  
нет ни раненных, ни павших,  
лишь любимые и нет.

Пусть нам маршал не пеняет,  
даст дослушать тишину.  
Проводи меня, родная,  
на последнюю войну!

## ЖЕНЩИНА ПРОСЫПАЕТСЯ

Моё отдохнувшее счастье!  
Пропели рассвет петухи.  
Луч солнца сказал тебе:  
«Здравствуй!» —  
целуя запястье руки.

День зимний светлеет несмело.  
Но вот уже церковь видна,  
и люди берутся за дело,  
и с неба уходит Луна.

В окне проступает дорога.  
Мне кажется или хочу:  
проснулась моя недотрога,  
щекою прижалась к плечу —

я чувствую это касанье  
горячей ланиты её,  
я слышу родное дыханье.  
Рассветное счастье моё!

И я говорю тебе: «Здравствуй!» —  
целуя запястье руки.

Моё отдохнувшее счастье!  
Пусть будут заботы легки,

тревоги просты и случайны,  
дорога чиста и быстра.  
Пусть что-то останется тайной,  
как запах ночного костра,

как сон, недосмотренный утром,  
и счастья открывшийся Храм,  
как Господа вечная мудрость,  
любовь подарившая нам.

## НА ЗАДВОРКАХ ПАМЯТИ

На задворках памяти — белый снег.  
А над ним — сияющий чёрный плед.  
На задворках памяти, как во сне,  
я едва четырнадцати полных лет.

Комом горечь горькая — в горла щель,  
отчего — не ведаю, не пойму.  
И терзает голову первый хмель,  
и толкуют взрослые про суму.

Про суму дырявую, про тюрьму  
про мою неправильность —  
в добрый час!

На задворках памяти: одному  
трудно жить влюблённому  
в первый раз.

## И СНОВА СНЕГ

И снова снег. Ночь с вечера мело.  
Взглянул в окно.

Подумал: невозможно  
всё начинать по новой, как назло,  
забыв, что предложенье односложно.  
Безличное «метёт» — осталось там:

пока ты спал сквозило и гудело.  
Весну прогнали с горем пополам,  
и вновь пространство смертью  
забелело.

А утром назывное только — снег.  
Как боязно ступать на эту нежить,  
которая одна теперь за всех  
пред небом непорочная! И нежит  
снег чистый тень церковного креста.  
Но вот сосед с собакой —  
на прогулку...

Всё кончено. И больше нет родства  
нетронутых скрижалей с переулком,  
где топчут снег на пару или врозь —  
без разницы. Он всё равно растает.  
И всё, что не успел, не довелось,  
никто другой уже не прочтает.  
Допил свой чай. Оделся не спеша.  
И вышел вслед таким же пешеходам  
морозцем напоследок подышать,  
пока весна не разбудила воды.

## МГНОВЕНИЕ

...А пепел догоревшего костра  
кричащим вороньём уходит в небо.  
Во благо вкуса убранного хлеба  
земля опустошенная мертва.  
Во благо опадает крайний лист  
с берёзы одинокой среди поля,  
молочно-белой в сгустках  
чёрной боли.  
Но как в пустом пространстве  
воздух чист!

Как высока сквозная синева,  
как солнце ею вымыто и стёрто!  
Как старый лось вытягивает морду  
и через ноздри чувствует — зима.  
Во благо ляжет иней на межу.

Ты понимаешь,  
пахнет первым снегом  
и чистое к нему готово небо.  
А я за этим всем один слежу,  
как самый нерадивый ученик:  
с берёзы лист едва земли коснется –  
и снегопад снежинкою начнется...  
Но снова мной не пойман этот миг:  
весь в белых хлопьях поля посреди,  
сливаясь с одинокою берёзой,  
перехожу рубеж стихов и прозы –  
и ничего не вижу впереди...

## **ДВА АНГЕЛА**

Не пишутся стихи. И к чёрту бы –  
так нет же!  
На берегу реки, уснувшей  
мёртвым сном,  
два ангела стоят. Их белые одежды  
белей снегов зимы, что в городе моем  
решила навестить  
плаксивое распутство,  
когда январский дождь смывал  
следы потерь.  
Два ангела стоят –  
и там, где было пусто,  
какой-то горный свет  
мерещится теперь.

И хочется забыть о том,  
что денег мало,  
тепла недостает, с водою перебой.  
Два ангела стоят: тех,  
в ком весна осталась  
один зовет к себе и за собой – другой.

## **ДЕКАБРЬ ОПАСЕН**

Декабрь опасен. Мы в особой зоне.  
Изранено снежинками лицо.  
Обрубок сигареты на перроне.  
Вокзала заметённое крыльцо.

Чему ещё мы можем удивляться?  
Свободен путь. Горит «зелёный глаз».  
Поют колеса:

«Бу-дем рас-ста-ва-ца...»

Кому поют? Которому из нас?

Грачи очнутся. Поезда вернутся.  
По кругу жизнь, сезоны и пути.  
И только нам назад не обернуться  
и прежнюю дорогу не найти.

Трагикомично встречи обещаешь.  
И потому, не поднимая глаз,  
подставь висок и щеку на прощанье...  
Счастливого пути!  
...Кому из нас?

## **ЗАМЁРЗШИЙ ПУТНИК**

**Невыдуманная история.  
Поэма**

**–1–**

Его принесли. Из-под смежённых век  
слезами стекал чуть подтаявший снег.  
Нашли на дороге, что к храму вела,  
на кромке когда-то большого села.  
Он, руки раскинув, как птица лежал:  
убитая пулей шальшой наповал  
в преддверье Крещенья,

в сквозном январе

раскинула крылья,

—3—

прижавшись к земле...

Лежал, устремлённый лицом в небеса.  
Возможно, он слышал с небес голоса,  
лежал неживой, но как будто смотрел,  
как будто увидеть там что-то хотел,  
увидеть, запомнить... Холодная высь  
роняла снежинки неспешные вниз...

Когда к ним районные люди вошли,  
два выпивших старца дремали  
в тепле  
в каморке при в церкви.

—2—

Приходский священник и сторож,  
вдвоём —  
два старца — его дотащили, потом  
он в церкви лежал как распятый  
Христос:  
так, будто к кресту он навечно  
прирос...

А церковь — в селе,  
стоявшем среди неоглядной тайги.  
Тайга посреди безысходной тоски,  
а та расплескалась повсюду, везде...  
Спросили районные: «Найденный  
где?»  
«Да там, у порога, при входе во храм».  
«Там нет никого». — «Как же нет,  
если там!» —  
священник и сторож,

Раскаянье позднее?

на раз протрезвев,  
ко входу. И правда!

Смертный кураж?

Чуть слышный напев  
откуда-то сверху, где колокол стыл,  
где снег то ли шёл,

Снег стёрли с лица и сказали:

«Не наш».

А руки никак не ложились на грудь...  
И сторож сказал: «Уж потом,  
как-нибудь».

то ли по небу плыл,  
где северный ветер разбойно свистел,  
куда этот «найденный»

Пока дожидались районных людей,  
священник молитву прочёл без затей,  
прося у Христа за «раба твоего».

путник «смотрел».  
И выдохнул сторож в приезжую  
знать:

А сторож сказал: «Облегчил ты его...  
Теперь бы принять во спасенье  
души».

«Нам это умишком своим не понять».  
Был. Видите — лужа крестом на полу.  
А вон его шапка осталась в углу.

Священник ответил ему: «Не спеши!»  
И снова в лицо незнакомца взглянул:  
как будто не умер, как будто уснул,  
блестели росинки растаявших слёз...  
«Такое бывает в крещенский мороз, —  
всезнающий сторож устало

Свидетели — пристально смотрят  
с икон.  
Лежал бездыханный —  
да вылетел вон».  
«Как вылетел, старый?!

вдохнул. —  
А может, и правда, всего лишь уснул?»  
Себя осенив, удалились они...

Ты пьян или как?» —  
районный начальник поднял свой  
кулак.

–4–

Но поп занесённый отвёл кулачок  
и молвил так, словно пред ним  
дурачок:

«Ты вот что, любезный, нас,  
старых, прости.

И правда — нашли мы его на пути.  
Бледней мертвеца. И документов нет.  
Когда бы, как прежде,

здесь был сельсовет,  
не стали б тревожить  
высокую власть...

А так, сам подумай, такая напасть...  
Вокруг — никого, только я да Фёдóр,  
да за полверсты Аникеевны двор:

сама чуть жива —  
только слёзы из глаз...

А этот не дышит.  
Вот — вызвали вас.

А он, пока ждали, оттаял слегка,  
чуть дрогнуло веко, согнулась рука.  
Мы подали чарку к сомкнутым устам.

Он влагу втянул. Ну, и поднялся сам.  
Спасибо сказал и к иконам святым —  
крестом осенился и шагом своим

отправился вон. Называться не стал.  
Бог видит, всю правду я вам  
рассказал».

–5–

Не верить священнику — повода нет.  
Тем более в церкви, где святость  
и свет.

«А может быть к егерю —  
поздний уж час —  
заглянем? Он баньку  
истопит для нас», —

сказал полицейский в приличных  
чинах.

На том и сошлись. И тотчас, на парях,  
к машине бегом,

в предвкушение утех,  
и тьму сотрясал их раскатистый смех.  
Мотор заревел — и опять тишина.

Над церковью мёртвая встала луна.  
И звёзды повсюду. И стихла метель.  
Ни треска свечного, ни скрипа петель.  
И в этой гнетущей почти тишине  
сказал старый сторож:

«Привиделось мне?  
Прислышалось, отче?

Ты что здесь наплёл?  
Когда этот найденный встал и ушёл?  
Пред ликом икон так

не мыслимо врать!..» —  
и рот придержал, чтоб не вспомнить  
про «мать».

«Дурак ты! —  
ничуть не обидевшись, поп  
ладошкой толкнул

Федю глупого в лоб. —  
Мы с первого класса знакомы с тобой,  
А ты всё такой же — за правду горой.

Ну, сам посуди: твой  
найдёныш исчез?  
Кругом — бездорожье

да северный лес.  
Так, значит, выходит, ушёл сам собой,  
не то за удачей, не то за бедой...

Так в чём же я, старый,  
ответь мне, солгал?  
Лишь в том, что я этого сам не видал?

А что — лучше было б поведать о том,  
как выпили мы, как заснули вдвоём,  
чтоб стали нас после

к стене прижимать?»  
Тут сторож кивнул и...  
пошёл допивать.

Священник седой на колени упал:  
«Прости меня, Боже, Тебя я признал  
в посланнике этом,

замёрзшем в пути...

Но дьявол попутал...

Всевышний, прости!

Не выжжен мой страх,

не чиста моя плоть.

Ещё раз меня испытай, мой Господь,  
неверного в слове раба Твоего!»

С иконы печально смотрел на него  
Христос. И сгущался за окнами мрак.  
И кто-то во мраке сказал:

«Сам дурак».

И шорох, как будто

от крыльев больших,  
прошёл через церковь —  
и снова затих.

Священник с колен всё никак

не встаёт,

и мнится ему: бездорожьем идёт  
неведомый путник и — посох в руках,  
и снег у него сединой на висках.

Но некому крикнуть: «Смотрите —  
вот Он!»

Спокойней молиться у древних икон:  
что молча взирают, о вечном скорбя,  
за грех твой и страх твой

прощая тебя.

## МЫ ДОЖИВЁМ И ДО ЭТОЙ ВЕСНЫ

### ВЕСЕННЯЯ НАДЕЖДА

Весенний гром не прогремит,  
живая влага не прольётся.

Исчерпан счастья лимит —

Не зазвонит, не пропоётся.

В рассветном сумраке апрель  
ещё пытается затеять  
свою звенящую капельь.

Пустая, глупая затея!

Вернулись гуси. Лист пробил  
кору на онемевшей ветке.

Но у любви не хватит сил —  
скупы слова и встречи редки.

Я говорю: «Пришла весна,  
как прежде: яркая, живая!»

Но замираешь у окна,  
кого-то взглядом провожая.

И не надеешься на гром,  
и первый лист не замечаешь.

Реки дыханье — подо льдом...

Холодный дом с остывшим чаем...

И всё-таки весна пришла.

Она сама к тебе ворвётся  
с лучами майского тепла  
и зазвонит, и пропоётся.





Взрывают лёд по всей реке —  
вскрывают зимние одежды.  
И нитью пульса на виске  
напомнит о себе надежда.

## **МЫ ДОЖИВЁМ**

Мы доживём и до этой весны,  
во что бы то ни было — доживём.

Кто мы такие? Мы — внуки войны,  
там наши деды легли в глинозём:  
кто-то поднялся, а кто-то не встал.  
Пуля не дура. Война есть война.  
Ангел-хранитель по небу летал  
и удивлялся: «Какая страна!  
Сколько в ней рек и озёр, и лесов!  
Сколько непаханой щедрой земли!»

И положили на чаши весов,  
что мы имели и что мы могли.  
И перевесило то, что дано —  
волчье пространство, таёжная сыть,  
степь, по которой не сеют зерно,  
поле, которое не пережить,  
и неразгаданный, вечный Байкал,  
и неужоженный, мёртвый Таймыр.

Бог удивился: «Кто это им дал?  
Этот огромный, неприбранный мир,  
царство неведомой им красоты?  
Кто этот щедрый?» — и взор отведа,  
молвили ангелы: «Господи, ты».  
Выдохнул в ужасе: «Господи! Я?!  
Это ж какую, блин, надо иметь  
волю и силу, чтоб всё распахать,  
выстроить, выдубить и обогреть —

силу сильнее, чем ангелов рать!»  
Тот, что всех ближе к Всевышнему  
был,  
тот, что над нами всех чаще летал,  
честно ответил: «Не наделил  
тем их, мой Боже, о чём восклицал». Свистнула в небе кровавая плеть:  
«Что ж не даёт им сбиваться с пути?  
Если ты знаешь, мой ангел, ответь:  
что помогает во тьме им идти?»  
И, заступаясь за эту страну,  
не заселённую даже на треть,  
ангел сказал: «Ниспошли им войну —  
и ты увидишь, как могут терпеть  
муку, разлуку и смертную сыть,  
битые, жжёные, рваные, но —  
так безрассудно умеют любить,  
что ни в каком не расскажешь кино».

Ангелу — что: он сказал — и усох.  
А Вседержитель подумал всерьёз:  
«Надо встряхнуть их, уж коли я Бог». Смилуйся, Господи! Мало нам слёз? —  
некому было тогда прокричать:  
строили, пели, в ГУЛАГах и вне —  
были готовы за Родину-мать  
пасть на кровавой, но быстрой  
войне...

И неизвестно, кому повезло.  
Мужу, погибшему в первом бою  
и не узнавшему: выжгли село,  
где он оставил и мать, и семью?  
Или тому, кто из плена бежал,  
чтобы потом до Сибири конвой  
с лаем собачьим его провожал?  
Матери, сына закрывшей собой?  
Девочке в городе тихих людей,  
с голода вспухших в оковах войны?..

Может, и стали мы после умней

так, что отдали излишки страны.  
Но всё ещё — много.

Уходишь в тайгу —  
и не отыщешь ухоженных мест.  
Всё ещё наши дороги — в дугу,  
и воровство — то ли стиль,  
то ли крест.  
Спросит Всевышний, взглянувши  
с небес:  
«Как там: не спят мужички на печи?  
Не соблазнил ли их пакостный бес?»  
Ангел-спаситель, ты только молчи!  
Молча, коль всё понимаешь, моли,  
не провоцируя Бога с плетьюми...

Я не хочу, чтобы внуки мои  
стали войны этой самой детьми.

## **МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ** Мы не ищем лёгких путей.

Прорываясь сквозь тьму и пламя,  
отпуская последний вздох, в жерло  
смерти кричим: «Ура!».  
Потому что, как ни крути,  
но мы верим: Москва — за нами!  
Хоть и нету в престольной той  
ни кола у нас, ни двора.

Даже если её салют на окраине  
нам не слышен,  
даже если её наград нам  
не выдадут никогда,  
добывая свой скучный хлеб среди  
ёлок своих и вишен,  
мы надеемся: к ней ведут  
все дороги и провода.

Помню — славный то был старик —  
в день Победы, за чаркой чарку,

обязательно говорил тост:

«За матушку, за Москву!»

«Сам-то был там хотя б разок?»

«Нет, не выпало мне подарка,  
только я за неё тогда выжил

в смерти протухшем рву.

За неё в медсанбате был распластован

врачихой-стервой,

матюгальщицей — видит Бог,

среди нас таких днём с огнём!

«Без руки — но ты будешь жить.

Не последний, сынок, не первый», —  
и добавила пару слов

на каком-то родном своём.

Я спросил её: «Что ты, мать?» —

было бабе уже за сорок.

«Помолилась я. Спи, солдат».

Помолчала, вздохнув едва.

И промолвила сухо,

как подожжённый сгорает порох:

«Над тобою, сынок, Господь.

За тобою, боец, Москва».

Нам не дарит судьба путей

не продутых насквозь ветрами.

Но от страха и от любви

мы как прежде орём: «Ура!»

И мы верим, мы знаем,

что будет вечно Москва за нами,

хоть и нету в престольной той

ни кола у нас, ни двора.

## РАЙ ЗЕМНОЙ

Бурлите, строки, талою водой  
и заново меняйте наши сроки!..

Пусть изогнётся радуга дугой,  
когда проснётся солнце на Востоке

и мама выйдет, пестуя мой рай,  
со мной, грудным,

на старое крылечко,

и зазвонит над нами птичий грай  
 пленительной, разноголосой речью.

И эта речь понятна будет мне,

когда людская речь необъяснима.

Я поплыву в моём возвратном сне  
в тепле ладоней матери родимой,

в её любви, родившейся со мной,

в её заботе, мне принадлежащей.

Мне нынче снова снится рай земной,  
и я забыл, что с нами было дальше...

## КАК ИСКАЛИ ИВАНА-ДУРАКА

Сегодня отбирали в дураки.

Актёры собрались на кинопробы.

Сюжет такой: две бабушки Яги

Ивана делят для своей утробы.

Иван же — хоть и связанный дурак —  
заигрывает с каждой из бабок.

Одну зовёт за ближний буерак.

Другую — на неближние ухабы.

Короче, чушь полнейшая и вздор.

Но дело в том,

что классный режиссёр.

Не просто классный — супер, высота,  
величина, божественное имя.

Чуть под усами приоткрыл уста —  
уж цедит мысли, делится своими.

Икнёт — все: «Ах!».

Чихнёт — все: «Быть беде!».

Взмахнёт рукой — и сердце обмирает  
у ассистенши, что за ним везде  
таскается и крохи подбирает.

Позвали первого. Осанистый Иван — актёр маститый, балован и важен. Отговорил как сонный истукан, не слишком-то вникая в эту лажу. В конце концов, он сделал честь тем, что играть Ивана согласился. Но режиссёр, свою имея спесь, вестись не стал.

Контракт не заключился. Актёр надутей, чем воздушный шар, ушёл, не расплескав актёрский дар.

Второй — вертлявый, ушлый, пробивной, частил словами, дёргался, елозил, И режиссёр подумал: «Боже мой! Какая у него в заду заноза! Того гляди протрёт нам реквизит. Директор мне потом проест печёнку». А вслух сказал: «Спасибо за визит» — и шоколадку дал как малому ребёнку. Вертлявый кланялся раз, может, пятьдесят и убрался, не поднимая взгляд.

Зато уж третий — точно Дон Жуан: ужимки, борода, манеры, попа. А улыбнётся — чистый пармезан. Что говорить! Америка-Европа! Он только что покинул Голливуд, отснявшись пять минут в заштатной роли, и временно, пока не позовут, был на мели, вернее, на приколе у собственной нужды: монеты все, что получил, «сыграв» две русские фразы, спустил в кабацкой ветреной Москве, нажив, в добавок, лёгкую заразу. «Однако, здесь у нас не Диснейленд,

и в самый пик товарозамещения такой «игрун» не попадает в тренд. Короче — миль пардон, прошу прощения», — хотя в словах был режиссёр циничен, но в выводах — вполне патриотичен.

Так, пять часов подряд, за рядом ряд прошли Иваны. Ни один ни к месту. Никчёмный полудикий маскарад, какие-то герои глупых квестов. У бабок-ёжек рвота началась от бесконечных повторений сцены. И даже ассистенша напилась, и подвывала старую сиреной: «Дубль сто пятнадцать!» — на ногах едва держась. Угрюмый оператор уже давно, не различая страх, лишь делал вид. Гримёр ругался матом, когда пред ним очередной Иван садился на продавленный диван.

В конце концов, великий озверел и к небу очи влажные воздел: «О, Боже! Воля вечная твоя. Не вопрошаю, принимаю грешный, твой верный раб, слезиночка твоя, молю тебя в пустыне безутешно: дай мне Ивана. Не богатыря, но дурака, простого, будто ... знамя, которое ровесник Октября своими к древку прицепил руками и ночью над управой прикрепил. Был бит фашистами, замучен и повешен. Но он так жил, ты понимаешь, жил. Наивный? Да. Но чистый и безгрешный. Дай дурака такого мне, как тот,



Мюллер затылок потёр пятернёй.  
Бабушка ласково: «Хитрый он, срака»

бабушке Визбор  
ни капли не страшен...

... дед, мамин папа —  
                                безвестный солдат  
где-то навеки

                                в Полтавском суглинке...  
Шелленберг тоже аристократ:  
«А шейне пунем<sup>2</sup>, как на картинке!»

...в Бабьем Яру её мама навек —  
бабушки мама, прабабушка наша...  
«Борман? А кто  
                                этот здесь человек?» —

Утро застоя. К закату готовы.  
Смотрим «Семнадцать мгновений  
  весны».

Как хороши Броневой с Табаковым,  
как они бабушке нынче нужны!

«И не враги они вовсе, а люди» —  
так, со словами мешая слова,  
бабушка всех одинаково любит  
и потому, безусловно, права...

## СТЕПЬ. Поэма

### Пролог

Помиловать нельзя, нельзя казнить.  
Метания, страдания, сомненья —  
извечный вирус от стихосложения:  
лечить — легко, нет силы излечить...

И потому возможен рецидив.  
Вчера сказал: пошло оно всё пешим...  
А нынче —

                                встал опрятен и безгрешен.  
Но чувствую: уже созрел нарыв

и просится наружу. За окном  
проснулись люди — добрые и злые.  
Вдруг вспомнилась:  
                                пропахла степь полынью,  
а мы послали Вовку за вином...

### Глава 1. Посиделки

#### I

Сельмаг в трёх километрах от Муры,  
где нас пшеницу припахали сеять.  
Студенты мы,

                                наук различных челядь,  
фигурки для профессорской игры,

где ставки на «зачёт» и «незачёт»  
и наши знанья ни черта не значат.  
Важнее пофигизм и удача  
а также друга верное плечо.

Верней — подруги. Вот она бежит,  
суёт шпаргалки, что-то там лепечет...  
И хочется обнять её за плечи,

<sup>2</sup> А шейне пунем — (идиш) «красивое лицо», красавец.

почувствовать, как, бедная, дрожит,  
что лист осиновый! За дурня своего.  
Вот любит как! «Дурак», —  
твердит, а любит,  
не веря, что любовь её погубит,  
взамен не оставляя ничего.

Но это хорошо, когда сошлось:  
сыскало сердце путь-дорожку  
к сердцу.  
А если девка лишь любовью вертит  
и каждый проходящий —  
новый гость?

Шалава, стерва! Ну, таких в ля-ля.  
Четыре этажа филологичек:  
от тихоглазых и до истеричек —  
бери любую. Круглая Земля,

но столь огромна, что потом сойтись,  
когда-нибудь — событие из редких.  
И потому общажные соседки  
легко и просто скрашивали жизнь,

себе и нам, души не бередя,  
без лишних предисловий-заморочек.  
А мамам, навещавшим нежных дочек,  
мы тут же представлялись  
как друзья —

студенты, комсомольцы и вообще  
идейные, немые импотенты.  
И про «любви счастливые моменты»  
Булат им пел на каждом этаже.

Мы были непорочны и чисты.  
А главное, что верили в то сами,  
очередной представленные маме.  
А после — без смущений —  
«жгли мосты».

## II

В тот раз гонцом был Вовка. За вином  
для предстоящих тихих посиделок,  
для девушек из здешних переспелок.  
Уже садилось солнце за окном,

когда вернулся Вовка в наш барак,  
где дружная — семь человек —  
бригада,  
принарядившись словно для парада,  
двух женщин развлекала натошак.

За двадцать два уж стукнуло одной.  
Второй и вовсе — двадцать пять.  
Старуха!

Но у других была совсем непруха,  
тех, кто поехал дальше «головной»

за десять километров. В выходной  
мы к этим дальним в гости заезжали.  
Какие горизонты там лежали!  
Гончарный круг! А бабы — ни одной.

Акын, киргиз заезжий, тракторист,  
тройной одеколон всосав с устаку,  
пел «Ямщика» и борзо шёл вприсядку.  
А пацаны плясать пытались твист.

Он им кричал: «Нерусские вы все!»  
Они ему в ответ: «А мы — киргизы».  
Он обижался, выл, слюною брызгал  
и резал крест — ножом, по колбасе.

Вдруг тишина — как будто с похорон.  
Старшой сказал: «А он ведь прав,  
паскуда».

И возникало как из ниоткуда:  
глубокий вздох и всё —  
«Вечерний звон»...

«Ведь всякий раз кочевник, гад такой,  
берёт на понт нас,

русских, и разводит.

И мы поём при всём честном народе  
про ямщика и давимся слезой.

«Ещё не вечер» стонем, про Байкал.  
Короче, много песен есть хороших.  
А он смеётся, хлопает в ладоши,  
как будто эти песни заказал», —

так говорил потом старшой — прораб,  
лихой герой студенческих отрядов.  
И добавлял: «Убил бы разом гадов:  
как можно сеять хлеб, где нету баб?!»

И сам-гора киргиза обнимал,  
вернее, прятал у себя под мышкой.  
И пели оба «одессита-Мишку»,  
и каждый в лоб другого целовал...

### III

Короче, нам в тот раз ещё свезло:  
хоть две нашлись, хотя и не красотки.  
Но в юности не надо даже водки —  
вся жизнь на раз, легко и набелó.

Водяру мы заране припасли.  
Вино — послаще! — заказали дамы.  
Когда об этом знали наши мамы,  
мы б с их подачи в армию пошли

(«Там дисциплина воинская, там  
не спиться!»). Пусть теперь икают:  
сначала в институт тебя толкают,  
а после попрекают за сто грамм.

Хотя, конечно, это не про нас:  
на брата было более стакана.  
Разлили. Помолчали — истуканы! —

и хлопнули. И заискрился глаз.

Потом — другой. Володя закурил.  
Дэн взял гитару. Началось веселье.  
И рядом щёчки женские зардели.  
Я ту, что старше — сходу закадрил.

## Глава 2. Глафира

### IV

В квартире пахло жжёным  
кирзачом —  
паршивой смесью сапога и сварки.  
Мы все тогда —  
поклонники Ремарка —  
отлично понимали, что почём:  
сидеть в окопах — это не кино,  
а жизнь — абсолютное оно.

Глафира, фельдшерица.  
«Здесь — судьба:  
окончила училище — послали». —  
Посмотришь на неё —  
в глазах печали —  
и понимаешь: жизнь её —  
борьба.

Она считала, главное найти  
себе любую мужнину защиту.  
«В итоге — из разбитого корыта  
вода уходит, как ты не мути».

Один сожитель бил её ремнём.  
(Я видел знаки звёзд на пятой точке).  
Бил, изувер, с оттяжкой по почкам,  
солдатской бляхой, вечером и днём,

когда в обед с дороги забегал.  
(работал водовозом в сельсовете).  
И — слава Богу! —



не родились дети:

V

он дважды из неё их выбивал.

«С тех пор и не могу я понести», — сказала, о себе, как о пеструшке-корове или курице-несушке, которой вряд ли может повезти.

Стояла ночь степная. Сонмы звёзд в открытое окно толпой вбегали. Смотрели на меня её печали — так смотрит на тебя бездомный пёс: две чёрных, две бездомных тишины. И жгло от осознания вины, так, будто это ты её в дорогу пинком прогнал с родимого порога.

Второй был просто конченный алкаш. Казах, кочевник. Глаз сощурит узкий и говорит ей: «Глашка, я не русский, но пью похлеще ваших».

Входит в раж —

и бьёт. Тот был попроще — кулаком, куда попало. Раз попал в висок. Упала. Смерть прошла на волосок, и отошла, костлявая, бочком.

Тот испугался, что пришиб её, и дёру дал, трезвея по дороге. Но, видимо, споткнулся на пороге, и налетел всем горлом на бельё.

Пробил кадык верёвкой («Во дела!»). Потом лежал с открытыми глазами под кружевными женскими трусами (Глафира всё же модница была).

Потом был третий, пятый и шестой.  
— А что четвёртый?  
— Будто был и не был, — и посмотрела на ночное небо, пленённая небесной красотой.

— Четвёртый ангел был, — сказала вдруг.  
Заволоклось слезами две печали. И руки, отчуждённые, упали, как будто не имела вовсе рук.

Так матери, наверное, сидят, когда с войны приходят похоронки и мир стоит в смущении в сторонке, и листья в тишине не шелестят.

«То было года три тому назад...»  
Ей двадцать два. Он — год как после школы.

Сошлись они скорее по приколу.  
«Он с девочкой поссорился. Был рад как сосунок прильнуть. Любви алкал. Ты только приласкай его немного».  
В тот первый раз Глафиру

он не трогал, лишь ненароком в губы целовал.

Она ж, имея опыт больше двух (я думаю, помножено на двадцать) с ним, несмыслёным, не смогла расстаться.  
Забилось сердце, обострился слух,

глаза открылись. Девка поняла: отдаться сходу — мудрость небольшая.

Тогда, домой мальчишку провожая,  
она, как степь весною, ожила.

«... и щebetала птицею шальной,  
когда от песни

собственной пьянеешь.

И не было потом меня нежнее,  
чем в год, когда якшался

он со мной», —

сказала. И от собственной тоски,  
как в речке с головою — захлебнулась.  
Ручьи — из глаз. Сквозь слёзы  
улыбнулась  
и уронила рюмку из руки.

Упала рюмка. Водка разлилась.  
(Мы пили водку у неё на кухне).

И снова мир затих. Казалось, рухнет,  
казалось, оборвётся с небом связь —

и не дозваться. Вот какой костёр  
четвёртый, тот, что был уже

сто пятым,

разжёт тогда в её душе распятой.

— А дальше что?

— Расстрельный приговор...

И сколько ни пытался я потом  
за что и как допытывать Глафиру,  
молчала посреди большого мира  
библейским мифом —  
соляным столпом.

В конце концов, я с нею переспал —  
ещё один из общего Содома.

Под утро пронеслись раскаты грома.  
Но дождь на землю так и не упал.

## Глава 3. Председатель

### VI

Мы сеяли с азартом. Степь цвела  
по островкам. Всё остальное — воля:  
чернело тело вспаханного поля.  
Земля зерна пшеничного ждала.

Здесь кобылицы мяли ковыли,  
гуляло половецкое кочевье  
века назад. И степь была ничейной.  
Но мы всё поле распахать смогли.

Мы были силой, всех мощнее сил,  
оплотом мира и Земли надеждой.  
А то, что модной не было одежды,  
так каждый всё равно её носил.

О том, что это был уже застой,  
узнали мы от новых краснобаев.  
А нам пел Окуджаву Луспекаев,  
и мы любили наш советский строй,

историю и подвиги страны,  
и про войну смотреть  
любили фильмы,  
от Волгограда до забытой Ильмы  
одной идее клятвенно верны.

К той верности Высоцкий и Булат,  
как ни мути, имели отношение:  
они нас вдохновляли, без сомненья,  
не издеваться, а любить стократ

сильней, чем за комфорт  
и крепкий тыл,  
за сытные подачки и примочки...  
(Когда Глафиру первый  
бил по почкам,  
в её сознании как Родина он был:

бьёт — значит любит).  
Так что не хрен брить  
по прошлому новейшей  
острой бритвой!  
Там мы на труд шагали как на битву.  
Там мы умели коллективом жить:

ругаться, бить друг друга, но идти  
к плечу плечо. А если так случится,  
и враг на нас посмеет ополчиться —  
за наш вершок —  
с лица Земли смести!!

## VII

Встречало наш студенческий отряд  
на станции колхозное начальство —  
сам председатель  
в образе «страдальца»,  
хотя и был рабочей силе рад,

нам говорил: «Сев — это не кино.  
Получите вы больше, чем хотите,  
но только меньше пейте и не спите  
над сеялкой, пшеничное зерно

из «рукава» с машины заправляя!  
Тут каждый год хоть что-то  
да случится:

под сеялку легко со сна свалиться.  
Короче, меньше пейте, заклиная!  
А в целом... — и махнул рукой. — Ура!  
Мы рады вам. Удачи, детвора!»

Так речь закончил.

Словом, вдохновил.  
Но лучше б ничего не говорил:  
мы умудрились в тот же день  
напиться,  
боясь с утра под сеялки свалиться.  
Поэтому назавтра выходил

на поле только тот, кто меньше пил.

А малопьющих было меньшинство.  
Непьющие — и вовсе лишь химера,  
и не было им общежитской веры.  
Хотя, казалось, трезвость — естество

того, кто дружно строил коммунизм.  
Но это только часть несовпадений,  
которые в нас заложили Ленин  
и партия, и Родина, и жизнь.

## VIII

На сев мы вышли все в конце концов.  
Ветра в степи гуляли, как хотели,  
пшеницы чешуи в лицо летели,  
Мы ж, помня о величии отцов,

поднявших, победивших, взявших на,  
осознавали: это всё — пустое.  
Пусть кожу жжёт, спина и руки  
ноют —  
зато заплатит Родина сполна

за честный труд любовью и рублём.  
А неудобства мы переживём.  
И каждый был тогда почти герой.  
К тому же, нас кормили на убой

свининой и бараниной — с утра.  
А щей таких — и дома не едали:  
в них ложки оловянные стояли.  
По первости орали мы «ура!» —

такой всенасыщающий приём  
не купишь на студенческие грёбши.  
«Наш председатель,  
в принципе, хороший», —  
сказали мы, решив — не подведём!

И стали втрое меньше выпивать.  
Вставали в пять, с полей обратно —  
в восемь.  
Все как один. Никто из нас не «кóсит».  
Сил оставалось вымыться и — спать.

Но в день единственный —  
святой наш выходной  
(щадили нас и день такой давали)  
имели право: хором выпивали  
за выполнение плана посевой.

## Глава 4. Тракторист

### IX

«Ну, как она?» — спросили мужики,  
когда поўтру прибежал в столовку.  
Пожал плечами. Стало вдруг неловко  
болтать о Глаше. Тренькали сверчки.

Степь просыпалась. Мы наелись каши  
с бараниной и, ватники взяв наши  
(нас в новые одели без помех),  
пошли замаливать вчерашней  
пьянки грех  
трудом во имя, Родине во благо,  
весёлая и дружная ватага —  
все как один. Ну, и один — за всех.

Мы были с Вовкой в паре. Как в кино:  
он насыпал на ленту транспортёра  
с машины. Я ж внизу, вдыхая порох  
трухи пшеничной, заправлял зерно

по бункерам на сеялке. Потом  
менялись. Впрочем, хрен нигде  
не слаще.  
Над нами — коршун по небу парящий.  
Под нами — жирный,

сущий чернозём.

А тракторист: «Чо медлим,  
пацанва?» —  
не просто сволочь —  
сволочь из народа,  
извечно недовольная порода,  
которая, как большинство, права:

«Студентики очкастые! Жидки!»  
Хоть мы очков вовеки не носили,  
но отчего-то это всё сносили,  
не подавая борову руки.

Он был кряжист и крепок словно дуб.  
Нас невзлюбил и злобно затаился.  
А в этот раз по полной взбеленился —  
во рту сверкал железной фиксой зуб.  
Он словно ждал удачи, чтобы нас  
пометить каждого в его  
нерусский глаз.

И вот закончили мы заправлять едва,  
как Вовка спрыгнул  
с кузова и крикнул:  
«Эй, ты, терпила!» Тракторист  
аж рыкнул  
и к нам рванул. Перекати-трава

сухая пролетела между нами.  
На нас степное двигалось цунами,  
А Вовка нагло пискнул: «Ой, боюсь!  
Того гляди от страха не сдержусь».

Мы перед «танком» отскочили, чтоб  
в тылу у «танка» заново сомкнуться.  
Едва успел он сходу обернуться,  
как получил с двух рук в покатый лоб  
и рухнул наземь. Выскочил шофёр:

«Творите что, последствия абортот?».  
У нас на шеях вздулось по аорте.  
Водила замер. Ближе не попёр.

Махнул рукой: «Сам знаю. Он такой:  
горячий, наглый. Только этот — свой.  
Что, не могли недельку потерпеть?  
Теперь что делать?»  
Мы сказали: «Петь».

А между тем наш тракторист в себя  
пришёл. Обвёл вех мутным взглядом.  
И вдруг сказал: «Так мне,  
придурку надо!  
Я ж это по-отечески, любя».

Вздохнул, сел в трактор и повёл его  
по полю, аккуратно засевая,  
грядущим и богатым урожаем,  
как будто не случилось ничего.

Нам было это с Вовкой невдомёк.  
Но мы решили после объясниться.  
Могло ведь и похуже что случиться.  
А так сошло: наш тракторист потёк.

Мы за день больше  
не общались с ним.  
Он в тракторе сидел. Мы заправляли.  
И в душах наших не было печали.  
Кто не судил, тот, значит, не судим.

## Глава 5. Мечь. Воин

### Х

Стирает горизонт ковыль степной  
волной зелёной. Всадник с головою  
скрывается в ковыльном непокое.  
Степь бесконечна. Только ей одной

не измениться, не пропасть вовек.  
Так думал он, на стременах вставая:  
есть только степь от края и до края.  
И — он в степи. Последний человек

на всей Земле, во всей  
Большой Степи.  
Свободен. Чист. Скачи, куда захочешь,  
меня дни на сумерки и ночи,  
меня направление пути.

Он никому не должен. Долг отца  
с лихвою возмещён: стоят на пиках  
две головы, два умертвленных лика —  
иного им не суждено конца.

Пусть выключают им вороны глаза!  
Пусть дождь степной разъест  
им кожу с мясом!  
Тела — волкам и одиноким барсам...  
Над степью собирается гроза.

Он натянул узду. Сошёл с коня.  
С седла снял пóлог.  
На земле раскинул.  
Он сделал всё, что ждёт отец от сына:  
«Теперь атá с небес простит меня».

Коня стреножить до дождя успел.  
Разверзлись хляби. Хлынули потоки.  
Тьма снизошла. Времён  
сомкнулись строки.  
Стрелюю век за веком пролетел.

Есть только степь. В ней человек —  
один.  
Кочевник, всадник, воин, муж и сын.

## XI

Степной волчицей шла по следу ночь.  
Теперь он сам стал  
        для врага добычей.  
Звериный рык, тревожный  
        посвист птичий:  
будь начеку! Гони усталость прочь!

Ты здесь один, среди Великих Трав —  
ты знаешь каждую, но враг в них  
        тоже вырос,  
он тоже из войны степной и мира  
и значит также, значит также прав.

Он уходил. Не разжигал костров.  
Глаза смыкал, не отменяя слуха.  
Шептала смерть, беззубая старуха:  
«Ну, что, кочевник,  
        встретиться готов?»

Он был готов. Его учил отец:  
лицом к лицу. Но если так случится —  
смерть со спины набросится  
        волчицей,  
прими достойно и такой конец.

Стыда в том нет. И навалился сон.  
Четвёртый день без отдыха и пищи.  
По следу ночь степной волчицей  
        рыщет.  
Враг окружил его со всех сторон.

Он на ноги с земли успел вскочить.  
Он был один на этом поле бранном.  
А после — степь заволокло туманом.  
И захотелось напоследок пить.  
Колодец со студёною водой —  
вкуснее нет. Отец идёт на встречу.  
Вот руки положил ему на плечи

и улыбнулся — строгий и живой.

«Пошли, сынок» — и двинул по степи,  
ковыль перед собою раздвигая.  
«Отец, что это? Жизнь?»  
«Да, другая.  
Но мы идём по одному пути»...

Коня забрали. Бросили волкам  
на растерзанье тело, обезглавив.

Дышала степь. Её судить не вправе  
ни человек, ни Вездесущий Сам.

## Глава 6. В плавнях. Тракторист

### XII

В плавнях, посреди Большой Степи,  
вечером мы пили мировую.  
Первую звёзду сторожевую  
первым разглядел на небеси

Вовка, продолжающий чудить.  
Пальцем ткнул: «Господь сегодня  
        с нами».

От костра к воде метнулось пламя,  
будто путник, жаждущий испить

мутной влаги. Шорох в камышах —  
и взлетела утица-тревога.  
Тракторист вздохнул:

        «Эх, безнадёга! —  
и добавил утке вслед. — Пах-пах!»

«В общем, Николаич, нас прости.  
Мы того... Но больно ты нас это...»  
Пили мы за мир на всей планете  
в плавнях посреди Большой Степи.

«Ладно, пацанята, сам дурак.  
Я ведь раньше так не заводился.  
С той поры, как Пашка...  
оступился...», —  
и поднёс к глазам большой кулак.

Вытер слёзы. Выпил. Замолчал.  
Мы молчали, чувствуя другое.  
Так не бьются волны о причал,  
псы ночами так с тоски не воют.

Так в степи горюют мужики:  
тяжко, безысходно, запредельно.  
Он стащил с себя пропахший тельник.  
Обомлели: шрамы вдоль руки

правой. И спина — в сплошных  
рубцах.

То же грудь. Живого места нету.  
Он, в глазах у нас заметив страх,  
пошутил: «Что? Знатные приметы?

Всякое бывает на войне.  
То, что выжил — Божье проведенье».  
Тишина. Вокруг сгустились тени.  
Только волны дышат в тишине.

«На какой войне?» — спросили мы.  
«Мало ли», — уклончиво ответил.  
Озарило вдруг: мы с Вовкой дети,  
шлёпки, неокрепшие умы.

Нам что вдоль пока, что поперёк —  
всё едино: родичей забота  
обеспечить, выучить, работать.  
Даже воевать — ёк-макарёк!

Ветерок прошёл по камышам.  
Тракторист опять завёл про сына:  
«Он едав в усах, но весь — мужчина.

Никогда не ездил по ушам.

Прям и крут был, будто прежний я.  
Только твёрже во сто крат и лучше.  
Наговоры сызмальства не слушал.  
С десяти годов седлал коня

сам и — в степь. Попробуй, догони.  
Весь с конём сольётся — чистый  
ветер!

Не было счастливее на свете  
нас с женой в те времена и дни.

Он, бывало, скажет: «Что же вы?  
Вас мне и оставить невозможно...» —  
и прижмёт к себе, такой надёжный!..  
Только больше нет его в живых».

Запах тины и горелых шин.  
Что сказать? Что спрашивать?  
Молчали.

Прозвучало: «Гады! Расстреляли.  
Он у нас единственный был сын».

## Глава 7. Суслики

### XIII

Суслики повсюду. Степь кругом.  
Миражи. Полынью горько пахнет.  
Встанет человек и громко ахнет:  
в облаках плывёт огромный дом.

Миражи. Гончарный круг степи.  
Чернозём, распаханый до края.  
Проще жизнь прожить, с судьбой  
играя,

чем такое поле перейти.

Это поле — больше, чем судьба.

Властвует над временем и смыслом.  
Что ему стремления и числа  
наших планов? «Жизнь есть  
борьба» —

говорим себе мы в оправданье,  
разрушая вечность мироздания.  
Суетливый смертный человек,  
бредящий то поворотом рек,  
то движеньем гор, то орошеньем,  
то болот повальным осушеньем.

Выйди в степь. Здесь суслики свистят  
также, как в кочевий времена.  
Здесь уместны лук и стремена.  
Здесь случайны камыши и сад.

Как легко, когда ты окружён  
письменами, техникой, железом!  
Выйди в степь — всё станет  
бесполезным.

И уже не лезешь на рожон  
перед этой пахотой сплошной,  
той, что обозвал ты «целиною»,  
разрушая царствие земное,  
ради рая, сочинённого тобой.

#### XIV

Мы решили суслика поймать.  
Местные, однако, научили:  
два ведра с водою нам всучили,  
чтобы воду в норки наливать.

Суслик нахлебается воды,  
выползет наружу мокрый, квёлый.  
Тут его хватаешь по приколу.  
Ну, а дальше — всё решаешь ты.

Изловили двух таким путём.

Принесли в барак. Травы нарвали.  
По коробкам тварей рассовали.  
Высохнут — натешимся потом.

Наши планы поменяла жизнь.  
Суслик мой тщедушный  
был и хилый —  
вдруг вцепился в палец, что есть силы  
до кости резцами, и ... повис.

Закатил глаза степной стервец:  
если отдирать, то вместе с пальцем.  
Стали щёлкать по лбу, били палкой.  
Отпустил, поганец, наконец.

На пол, за порог и в степь, к своим.  
Палец опухал, чернел заметно.  
Я — к Глафире тропочкой заветной,  
тоже в степь. Так оба и бежим,

каждый, что искал себе, нашёл:  
суслик отомщён, а я наказан.  
Я сказал Глафире: «Вот зараза!»  
Глаша усмехнулась: «Сам козёл», —  
и всадила мне от столбняка,  
не жалея и не церемонясь.  
«Что, совсем измучили гормоны?  
Сдохнешь, как пацан, от пустяка.

Это степь. Не любят здесь таких.  
Но в тебе есть дельное, я вижу.  
Так и быть, заглянешь — не обижу.  
Эту ночь разделим на двоих».

#### XV

Как-то так. Не знаешь, где найдёшь.  
Между тем, в коробке спал с травкою,  
в клевере зарывшись с головою,  
суслик. Дали прозвище: «Гаврош».



Этот был пушист и толстобок.  
Позволял себя чесать за ушком.  
Хлеб ему крошили. Бодро кушал:  
за щёки пихал. «Погодь чуток.

Как вернёмся в город, приручу», —  
говорил Заур, хороший парень.  
Я с грузином не был солидарен.  
Но решил, что спорить не хочу.

Мне хватило опыта с моим:  
суслики — степной свободы дети.  
Чем Гаврош хозяину ответит,  
нам покажет время. Поглядим.

Долго ждать, однако, не пришлось.  
Через день Гаврош исчез бесследно.  
«В степь ушёл. А ты опять  
бездетный», —  
шутки лучше сходу не нашлось.  
«Дураки», — Заур послал всех «на».  
Молча лёг и отвернулся к стенке.  
За окошком ночь слизала пенку  
с варева заката. Тишина.

Утро наступило ровно в пять.  
Каша, жир бараний. И на поле:  
пусть живут все суслики на воле —  
нам работу надо работатъ.

День прошёл. Потом ещё. В углу,  
писк из грязных телогреек слышен:  
«Так-растак! У нас ещё и мыши?!».  
Вовка со двора принёс метлу:

«Будем выметать. А ну тряхни!»  
Сверху телогрейку взял.  
«Не трогать! —  
в комнату влетел Заур с порога. —  
Вот же, посмотри. Вот они!»

Охреть! Семь лысых сусличат.  
И Гаврош, заметно похудевший,  
смотрит отрешённо и нездешне,  
как над ней семь олухов стоят.

Человеки! Их умнее нет.  
Изрекли: «Так это ж сусличиха!  
Нáжил наш Заур заботу с лихом:  
папой был, теперь ещё и дед».

Со двора вбежал соседский пёс —  
отогнали бедного метлоу.  
Малышей боясь побеспокоить,  
в шапку всех Заур собрал, унёс

с матерью счастливой в степь,  
к своим,  
в те места, где наши планы — дым,  
наши письма — пустое бремя,  
ничего не значит наше время:  
не смотри на стрелки — нет его.  
Только степь. И больше — ничего.

## Глава 8. Рассказ Глафиры

### XVI

«Ты знаешь, что такое «орошень»?  
Да здравствуют глобальные решения!  
Изранят степь, сметут с неё курганы,  
нароют повсеместно котлованы:

«Нам засуха отныне не страшна!»  
Очередная выиграна война  
с природой. Но проходит год,  
потом другой и третий, и природа  
берёт своё обратно у народа.  
И мы теперь живём среди болот.

Ты в плавнях был? Там уток — страх!

## Глава 9. Маки. Дэн

Кому не лень — все нынче на охоте,  
а пацаны служить хотят во флоте  
и зажимают девок в камышах.

В тот год опять разрыли степь у нас.  
Он там как раз табун колхозный пас.  
От страсти пацана не уберечь:  
повадилса на свежие канавы —  
искать следы былой

«кровоавой славы».

И ведь нашёл же — половецкий меч!

Едва дождавшись утренней зари,  
пришёл ко мне.

Глаза горят: «Смотри!».

Отчистил сам и наточил, как бритву.  
Я пошутила: «Собрался на битву?»  
Он усмехнулся: «И не говори!»

Добавил: «Пригодится, если что» —  
и так с лица сошёл — я присмирела.  
Да, если что — такой пойдёт на дело.  
Он крепким был. Он не носил

пальто.

«При чём здесь это?» — я спросил.  
«При том!

Пальтишки, курточки!  
Приличные мальчата!  
Он... был другой. Он был мне...  
старшим братом.

И даже больше: он мне был... отцом».

И я представил: девятнадцать лет!  
«Мне больше на год. Значит,  
я — твой дед».

Я пошутил, Глафира разозлилась.  
У нас в ту ночь свиданье не случилось.

### XVII

Конец апреля. Степь чиста кругом.  
Вдруг алый плат на выплывшем  
кургане.  
«Но это ж ... маки. Господи! Славяне!  
Здесь маки, братцы!  
Маковый дурдом» —

посыпались горохом, на курган  
помчались черноточием дороги.  
Несите пацанов, дурные ноги!  
Несите всех, нерусских и славян.

Весна. Какие маки дарит степь,  
накидывая лёгким алым платом  
на грудь свою, на каждый  
мёртвый атом  
Земли, на вековую цепь,

от гунна, что скакал, лелея месть,  
от тех времён, от рода Кучук-беев  
до нынешнего Даньки Кочубея.  
(Он липший кореш Вовчика-еврея.  
А к ним обоим — лучше и не лезть)

«Мой дед — герой Гражданской, —  
не робей!  
Ты фильм смотрел?» — кричит,  
глаза сверкают.  
Эх, Данька! Где теперь тебя мотает —  
потомок графской крови, Кочубей.

Ты знал, срывая по степным полям  
крылатые и трепетные маки,  
о том, что предки преданней собаки,  
служили государству и царям,

а вспомнил лишь Гражданскую войну.

Такое можно каждому в вину

в те времена поставить с высоты  
истории, которую нам снова  
переписали заживо-здорово  
приверженцы новейшей суеты,

скопцы пришедших  
рыночных времён,  
без памяти, без собственных имён.  
Но, реформаторы, вершителю судьб.  
вы тоже с нами ехали на хлеб,  
тащились через маковый кордон,  
и собирались родине служить.

Вы тоже собирались просто жить,  
вам девочки приветливо махали,  
а вы для них все маки собирали,  
не зная, как коробочки сушить.

Я помню, как один из нас в цветы  
на склоне невысокого кургана  
упал спиной. И прошептал:  
«Нирвана... —  
и вдруг добавил, — Царство красоты

и счастья — наша родина, братва!»  
Высокопарно, вычурно. А всё же  
никто ему тогда не дал по роже  
за эти идиомные слова.

Никто тогда его не упрекал  
за близорукость, трусость,  
недалёкость.

А он смотрел на небо синеоко.  
И Вовка рядом на спину упал.

Я рухнул подле. Дэн сказал: «Ура!  
Давайте пролежим так до утра.  
Все звёзды сосчитаем до одной,

чтоб больше не пугали нас войной».

«Причём здесь это?»  
«В общем, не причём.  
Но звёзды все над родиной, ребята.  
По всем погибшим на войне  
солдатам.  
Мы вспомним всех, когда  
их перечтём».

И ведь считали. Было нам не лень.  
Полночи. Молча. Без дурного смеха.  
А поезд ждал и никуда не ехал.  
Ты помнишь, как зажёт сердца нам,  
Дэн?

Ты помнишь, как спустя  
пятнадцать лет  
Мы встретились.

Ты бредил перестройкой  
и говорил: «СССР — помойка.  
Америка — грядущей жизни свет».

Английским ты на зависть нам владел  
крутого круче (мамой был научен).  
Ты с тех времён был с книгой  
неразлучен,  
когда на звёзды из степи смотрел.

Ты лучше нас вписался в новый день.  
Достиг высот: ты — младореформатор  
и бизнесмен, партийных дел  
куратор...  
Ты помнишь степь и наши звёзды,  
Дэн?!

## Глава 10. Мечь. Мать

### XVIII

Мой горький. Мой любимый.

Мой родной.

Мой чистый воздух родины.

Над степью

струятся облака седою цепью,  
текут и не прощаются со мной.

Ковыльных миражей гончарный круг,  
попынный запах знойного простора  
и разнотравье, и ночные хоры  
невидимых цикад, и даль разлук...

Ужели я здесь не был никогда?

Не шёл по следу за степной

волчицей?

Не ощущал от пальцев до ключицы,  
как холодна упавшая звезда?

Не спал под возом и не пас коней,  
свист сусликов не различал в закате  
и звёздной ночи бархатное платье  
не опалил костром души моей?

### XIX

Волчица, потерявшая волчат —  
так выла мать по сыновьям.

Над степью

шли облака необозримой цепью  
и травы уходили в солончак.

«Умай, богиня! Мать всех матерей,  
рыдай со мной.

Сожги Йер-Суб слезами.

Твой муж, богиня, если он над нами,  
зачем моих оставил сыновей?

Зачем, о Тангра-хан, в тот чёрный час

не подал ты им знака волчьим воем?  
Когтями я пустое чрево вскрою —  
зачем, о Небо, сыновей не спас?

Молю тебя, угрюмый Эрлик-хан,  
при встрече передай моим батырам:  
для матери померкли краски мира,  
у матери страшней не будет ран,

но мать жива. И внуки будут жить:  
Я подниму их — род не оборвётся.  
И каждый заарканит иноходца,  
научится сражаться и любить.

И будут знать горячие юнцы:

хитрей волков и крепче

крепкой стали,

голов перед врагами не склоняли,  
их гордые и смелые отцы.

И если в их сердцах зажжётся мечь,  
прапредок Волк их позовёт

на мщенье —

я упаду пред Небом на колени,  
я смертным воем перекрою Степь,

но отпущу — не встану на пути.

Ты слышишь, тать? А может,

твой последыш?

Твоя судьба идёт с мечом по следу —  
то внуки мои рыщут по степи»

## Глава 11. Павел

### XX

Оберни меня в саван степи  
под весёлую белую вьюгу.

Мы нашли в этом поле друг друга,  
чтобы вместе его перейти.

Травостой, достигающий звёзд.  
В дни потопа библейские грозы.  
Мир любви и вселенской угрозы.  
Между небом и памятью — мост.

Оберни меня в саван степи  
в полотно из нетканого снега.  
Я почти задохнулся от бега.  
И потеряны знаки пути.

## XXI

«Ты называл её «дурман-травой».  
Она повсюду здесь произрастает,  
хоть пешего, хоть конного скрывает —  
с любовью бесшабашной головой.

Придёт сентябрь. Созреет анаша,  
и ринутся с пустыми рюкзачками  
подонки со стеклянными зрачками,  
по ходу всё, что под руку, круша...

У нас его прозвали Васька-хан —  
мордастый поселковый участковый.  
И дом имел, и мотоцикл новый.  
Держал посёлок, выполняя план.

Не пятилетний, дурень. Так траву  
с былых времён поныне называют.  
Она в сентябрь, зараза, созревает.  
Особенно хорошая — во рву.

Откуда знаю? Кто ж здесь не знаток!  
Наш участковый был над делом  
старший.  
Случилось так: столкнулся с ним мой  
Паша.  
Верней, нарвался Васькин корешок,  
который привозил «рабов» в сезон...  
Сам к Ваське, а поганцев — за травую.

И пьют на пару с ханом самогон,  
а после песни, будто волки, воют.

Тоскливо так и жутко. Злоба в них  
какая-то бродила кровью смрадной.  
Но мало пить. Гулять им было надо.  
А этот кореш Васькин — просто псих.

Однажды возвращалась с головной  
(ходила в магазин за свежим хлебом).  
Шла не спеша тропинкою степной.  
А надо мною — ласковое небо.

И стало так мне, дуре, хорошо,  
что на стожок взобралась и сомлела.  
Незримая пичужка сладко пела,  
как будто где-то рядом пастушок,

как на коробке вкусных ассорти,  
что Паша подарил на день рожденья.  
И было мне чудесное виденье:  
мы в церкви с ним. Одна свеча горит,  
что перед нами. Я в накидке белой.  
И Паша — нерешительный,  
несмелый —  
мне что-то очень тихо говорит.

Я понимаю — нас должны венчать.  
Но где же поп? Иконы? Где кадило?  
Вдруг чувствую — зловоние могилы.  
Я понимаю — надо закричать,  
но мочи нет. И крепко рот зажат.  
Глаза открыла... Васькин кореш,  
сволочь...  
На горле — холод лезвия ножа...  
Снасилъничал... Одну оставил...  
Голой...

Не знаю, как я ночи дождалась.

Проплакала. Сама? да бес со мною:  
не убыло. Но Пашка мой... И вою,  
скулю лисицей...К дому добралась —

а Пашка, как предчувствовал,  
ждал там.

Меня увидел — стал черней могилы.  
Я сдуру рассказала всё, как было.  
Он простонал: «За что всё это нам?»

Встал молча и ушёл. Я поняла:  
теперь конец... Кому нужна шалава?  
Достала водку — верную отраву  
и напилась. Уснула у стола.

А утром стук в окно: «Беда! Беда!»...  
... Он от меня с мечом ворвался  
к Хану  
и порубил обоих, в усмерть пьяных...  
Мне передал записку: «Навсегда...»

Мать принесла. Сказала:  
«Сын просил».  
Добавила: «Чтоб ты пропала, стерва!»  
...

Я вены резала. Потом лечила нервы.  
А Пашкин батя — попросту запил».

Ночь за окном стояла глуше сна  
смертельного. Посередине мира  
Я вдруг сказал: «Прости меня,  
Глафира».

«За что простить? В том не твоя вина,  
что приголубила.

Одной нет горше быть.  
А ты — не злой.

И мне напомнил Пашку.  
Я там тебе нагладила рубашку:  
вам завтра за расчётом приходите»  
.

## Эпилог

Всё — вымысел, что здесь я рассказал,  
любые совпадения — случайны.  
Повсюду — степь с её огромной  
тайной.  
Встал посередине — и вошёл в астрал,

где спаяны не только времена,  
не только судьбы — семена и мифы.  
Идут века. А мы всё также — скифы,  
хотя у нас другие имена.